

ОГОНЁК

№ 17

Впервые в истории человек с планеты Земля — наш советский человек — на корабле, созданном руками советских ученых, рабочих, техников и инженеров, вырвался в космические выси и совершил первый беспримерный рейс к звездам.

Н. С. Хрущев.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

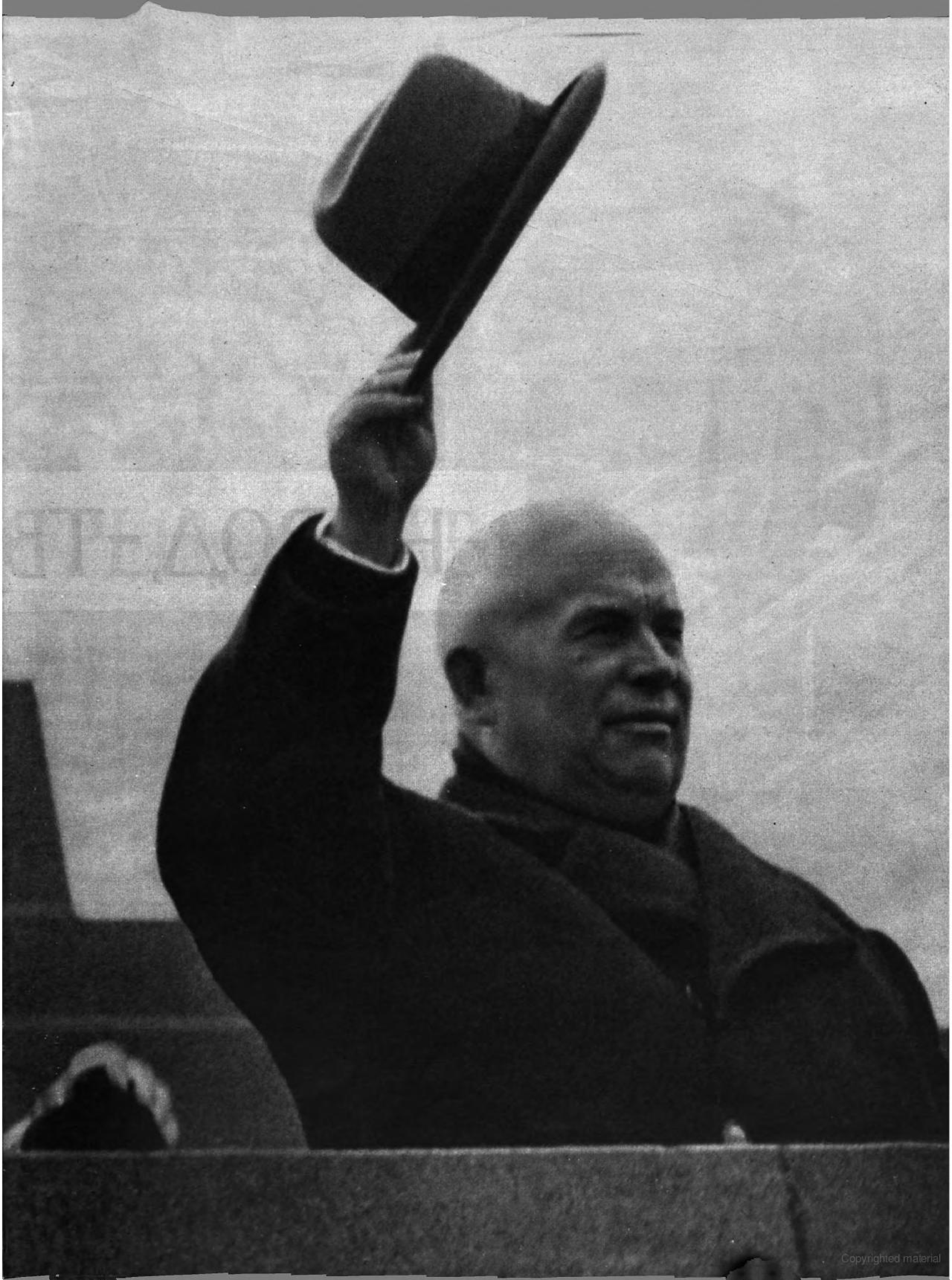
ОГОНЁК

№ 17 (1766)
23 АПРЕЛЯ 1961
39-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



МОСКВА, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 14 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА.
Фото Я. Рюмкина.





НАРОД-ТВ



МОСКВА, 14 АПРЕЛЯ

Фото Д. Бальтерманца, А. Бочинина, Ю. Кривоносова, А. Новикова, М. Савина, И. Тункеля.





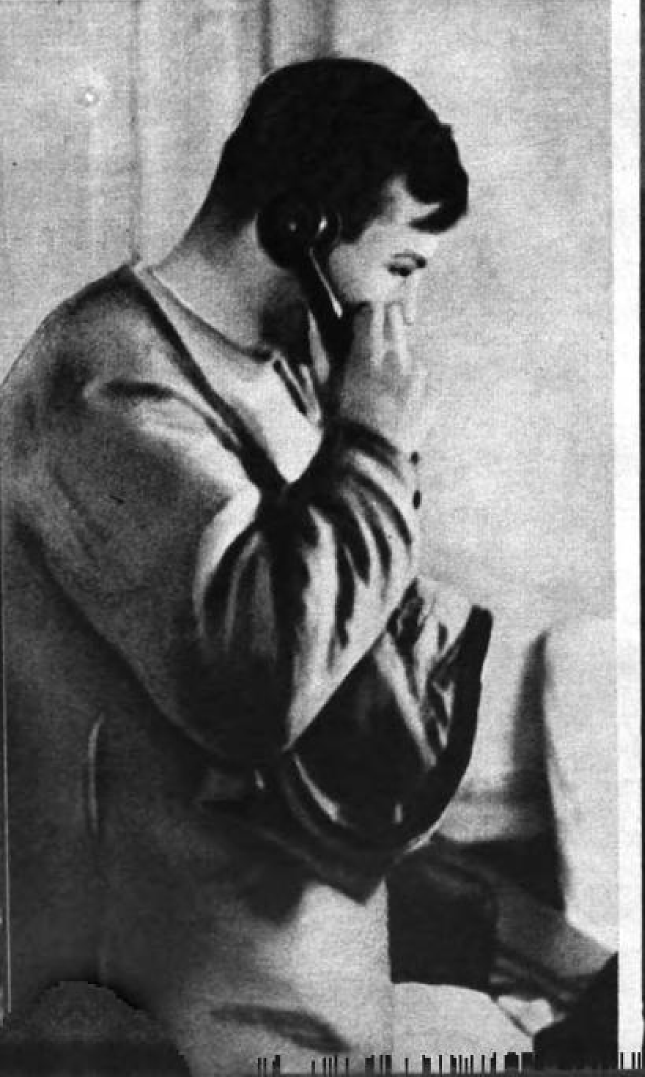
ОРЕЦ СЛАВИТ ГЕРОЯ

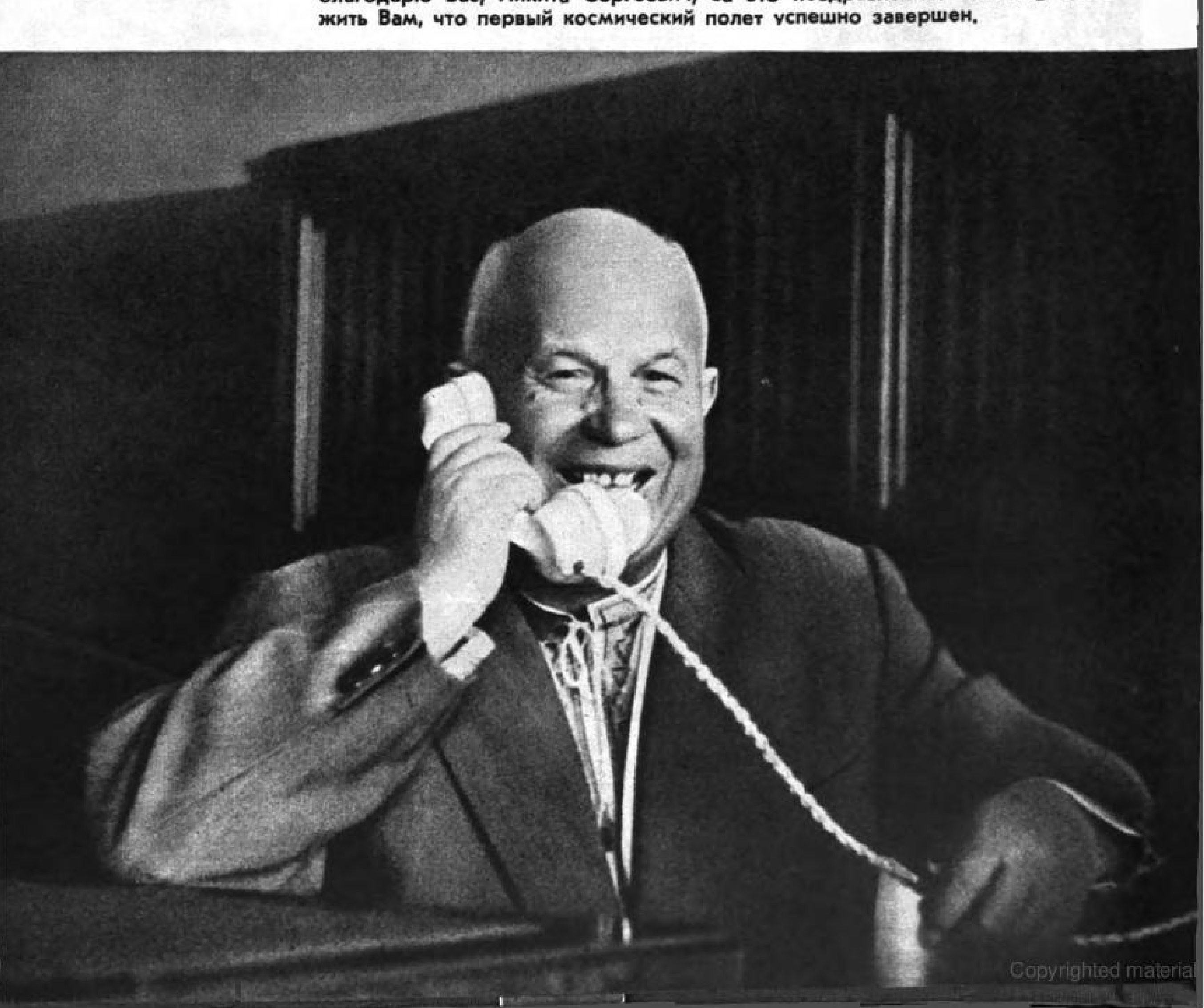
12 апреля, 13 часов по московскому времени.

Н. С. ХРУЩЕВ ГОВОРИТ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПЕРВЫМ КОСМОНАВТОМ Ю. А. ГАГАРИНЫМ.

— Я рад слышать Вас, дорогой Юрий Алексеевич.

— Я только что получил Вашу приветственную телеграмму... Сердечно благодарю Вас, Никита Сергеевич, за это поздравление: счастлив доложить Вам, что первый космический полет успешно завершен.





Москва, Кремль. 14 апреля 1961 года. На приеме в Большом Кремлевском дворце. После вручения Ю. А. Гагарину ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и грамоты летчика-космонавта СССР руководители партии и правительства сфотографировались с членами его семьи и родными.
На снимке (в верхнем ряду): Ф. Р. Козлов, Л. И. Брежнев, В. И. Гагарина, Ю. А. Гагарин, Н. С. Хрущев, А. Т. Гагарина, А. И. Гагарин, К. Е. Ворошилов, Р. Я. Малиновский. В нижнем ряду (справа налево): Б. А. Гагарин, А. И. Гагарина, В. А. Гагарин, З. А. Гагарина.

Фото А. Устинова

Звездному человеку Юрию Гагарину

I

Не мною
в Космос
дверь открыта,
Стезя проложена не мной.
Но сердце
вышло на орбиту
И обогнуло
Шар земной.
И вижу я начало эры,
Где
злой Кащей
уже зачах,
А мы идем, как Гулливеры,
И держим
Солнце
На плечах.

II

Пусть померк
в лучах победы Вашей
Этот факт...
А дело было так:
Мы купили с дочерью Наташей
Жаворонков, скромных певчих птах.

Дали хлеба милой певчей паре,
Продержали дома с полчаса
И во имя Вас, майор Гагарин,
Отпустили
прямо в небеса.

Вот и все.
Но кажется Наташе,
Что за шумным городом Москвой
Обитают жаворонки наши
И владеют ширью полевой.

Вы-то их разыщете едва ли,
Но когда посмотрите в зенит,
Слушайте и верьте,
что над Вами
Их земная музыка звенит.

Сергей СМИРНОВ



Леонид Ильич Брежнев вручает Юрию Алексеевичу Гагарину орден Ленина и золотую медаль Героя Советского Союза.

Глава правительственной торговой делегации Китайской Народной Республики министр внешней торговли Е Цзи-чжуан от всей души поздравляет первого космонавта.





В ЧАС, КОГДА РАБОТА НАД ЭТИМ НОМЕРОМ ЖУРНАЛА БЫЛА ЗАКОНЧЕНА, ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ КУБИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ РАЗГРОМЛЕНЫ!

ТЫ



«Позор агрессорам!» — гневно заявляет трудовая Москва.
Фото Дм. Бальтерманца.

ПОБЕДИШЬ, КУБА!

Г. БОРОВИК

Случилось то, чего все мы вынуждены были ждать вот уже почти два года и против чего восстает душа и сердце каждого, кто честен.

Куба — маленький остров в Карибском море, ставший за эти два года таким большим и значительным, подвергся неслыханному разбою. Полчища наемников, подготовленных американскими империалистами, были брошены на республику только потому, что шестимиллионный народ маленькой и великой Кубы решил жить самостоятельно, решил иметь правительство, которое управляло бы не по звонку из иностранного посольства; только потому, что народ разорвал колючую проволоку, ограждавшую гигантские владения «своих» и иностранных латифундистов; только потому, что народ завоевал наконец отобранное у него право на человеческую жизнь.

Эта агрессия началась не вдруг. Она началась на другой день после того, как в начале января 1959 года на улицах Гаваны освобожденный народ запел гимн Движения 26 июля.

Эта агрессия имела различные формы, но направлена была к одной цели — задушить в зародыше кубинскую революцию, чтобы неповадно было ни одному латиноамериканскому народу думать о настоящей революции.

Мы слышали на Кубе пулеметный треск горящего сахарного тростника. Он был подожжен бомбой, сброшенной с американского самолета. Мы слышали стрельбу на улицах Гаваны — это была диверсия, подготовленная американскими империалистами. Отказ покупать кубинский сахар, отказ перерабатывать нефть, купленную не в Соединенных Штатах,— это тоже была агрессия, экономическая агрессия огромного империалистического государства против маленького, крошечного острова—всего тысяча двести километров длиной и двести шириной.

В сердце каждого вооруженного кубинца горит огонь революционного призыва: «Родина или смерть! Мы победим!»

Посмотрите на карту. Маленькая отважная Куба будто в пасти разъяренного зверя. И над ее сердцем зловещий клык — американский полуостров Флорида. А на самой Кубе — американская военная база Гуантанамо.

У врагов Кубы не было сомнений, что в пасти хищника погибнет маленькая Куба, не выживет, изолированная от мира.

Но изоляция сорвалась, как сорвалась и экономическая агрессия. И тогда сомкнулась пасть. С американских аэродромов во Флориде были брошены на кубинские города бомбардировщики, к кубинским берегам двинулись суда, привезшие бандитов и оружие. И на бандитах и на оружии одно клеймо: «Сделано в США». На всей неслыханной агрессии то же зловещее клеймо: «Сделано в США».

Американский капитал приютил мятежников, вложил им в руки оружие. Американский капитал благословил разбойничье нападение. Американский капитал направил к берегам Кубы авианосец, носящий кощунственное название «Индепенденс» («Независимость»).

На Кубе есть лозунг: «Родина или смерть!». Очень много людей приняли смерть, чтобы восторжествовала родина. Слишком много могил на маленьком острове, чтобы народ позволил надругаться над святым делом революции.

На Кубе говорят: можно стереть с лица земли маленький остров, можно уничтожить все шесть миллионов кубинцев, но нельзя уничтожить революцию. Потому что если останутся в живых хотя бы несколько кубинцев, они снова уйдут в горы Сьерра-Маэстра и начнут все сначала.

На весь мир прозвучали твердые и решительные слова Послания Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева президенту США Д. Кеннеди: «Что касается Советского Союза, то не должно быть заблуждения насчет нашей позиции: мы окажем кубинскому народу и его правительству всю необходимую помощь в отражении вооруженного нападения на Кубу».

Кубинцев не шесть миллионов. Их значительно больше.

С кубинцами все, кто честен. А честных людей в мире гораздо больше, чем подлецов.

Вот почему мы уверены, Куба, в твоей победе.

Patria o muerte! Родина или смерть!



Идет польская медь. Новая печь на Легницком медеплавильном заводе.

Пусть будет счастливым будущее этих мальчишек, будущее всех детей народной Польши!



ДРУЗЬЯ, БРАТЬЯ

21 апреля исполнилось 16 лет со дня подписания Договора о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской Народной Республикой. Мы публикуем беседу Чрезвычайного и Полномочного посла ПНР в Москве тов. Болеслава Ящука с корреспондентом журнала «Огонек» Г. Гурковым.

— Прежде всего, товарищ посол, разрешите поздравить Вас с этой датой, столь памятной для наших народов. Расскажите, пожалуйста, об успехах, достигнутых трудящимися Польши за шестнадцать лет.

— За эти годы наша страна сделала огромный шаг вперед. Об этом могли бы сказать десятки, сотни цифр. Я приведу две. Сейчас в Польше средняя продолжительность жизни составляет 64,9 года. В буржуазной Польше она была равна 49,8 года. Социализм, который строится для человека, влияет, как видите, самым положительным образом на продолжительность жизни. Разумеется, цифры, которые я привел, связаны с многими факторами: с заботой государства о развитии здравоохранения, с развитием массовых форм отдыха, наконец, с уверенностью в завтрашнем дне, которой в панской Польше никогда не было. Безработица тогда составляла более миллиона человек. А какие существовали перспективы? Каждый деревенский юноша считал себя счастливым, если у него за спиной было три-четыре класса. Четверть населения Польши была неграмотной. А сейчас у нас по всей стране введено обязательное семилетнее образование.

Люди лучше живут, лучше одеваются, лучше питаются.

Разумеется, основа этих успехов — индустриализация страны. Она обеспечила нам повышение жизненного уровня, улучшение жилищных условий. До войны выплавка стали в Польше составляла неполных полтора миллиона тонн. А в 1960 году сталеплавильные заводы нашей страны дали 6,75 миллиона тонн стали. Только комбинат Новая Гута имени В. И. Ленина произвел стали больше, чем вся панская Польша. В 1960 году наши горняки добыли 105 миллионов тонн угля, впервые в истории страны перейдя цифру 100 миллионов. Это был большой праздник шахтеров и всей Польши! В целом по стране годовая продукция довоенной Польши выпускается за полтора месяца.

— Что бы Вы могли сказать о сотрудничестве между Польшей и Советским Союзом в различных областях жизни?

— Договор, который подписан шестнадцать лет тому назад, называется Договором о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве. Эти слова, как мне кажется, очень точно выражают три основных элемента социалистических отношений между странами, между народами. Договор, заключенный в 1945 году, положил основу братским отношениям между нашими странами. Исключительное значение имела помощь Советского Союза в первые трудные годы восстановления нашего народного хозяйства. Советская страна помогала нам машинами и сырьем, сельскохозяйственной продукцией и предметами народного потребления. К нам приезжали советские специалисты, которые вместе с нашими рабочими и инженерами восстанавливали разрушенные оккупантами заводы, помогали наладить наше народное хозяйство.

Мы горды тем, что польская судостроительная промышленность занимает сейчас девятое место в мире. А ведь этой промышленности не было перед войной. Сегодня на земном шаре не найдешь порта, куда бы не заходили суда под польским флагом или суда, построенные на польских верфях. И когда мы говорим об этом, мы подчеркиваем: наше судостроение развивалось на советских заказах. Это они позволяли нам в большом количестве выпускать крупные суда, наладить серийное производство.

Стремительными темпами развиваются торговые отношения между Польшей и Советским Союзом. Из года в год мы перевыполняем план товарооборота. То, что подписываем в начале года, уже в середине года оказывается недостаточным, находятся новые возможности, которые мы, разумеется, с радостью используем.

Братская помощь Советского Союза позволила нам построить многие крупные предприятия. Если бы я начал называть их, то, вероятно, получился бы длинный список. Его возглавляют такие гиганты, как Новая Гута, завод качественных сталей в Варшаве, в него входит нефтеперерабатывающий завод в Плоцке, который мы сейчас строим. Этот завод — основная стройка нашей новой пятилетки. Он, как и Новая Гута, станет символом промышленного развития Польши. Завод будет получать черное золото из Советского Союза.

Мы очень довольны тем, что благодаря братской помощи Советского Союза создалось такое положение, когда удельный вес машин и оборудования в нашем экспорте в СССР становится все большим. Мы строим в Советском Союзе заводы строительных материалов и, как говорят советские товарищи, неплохие. Поставляем оборудование для сахарных заводов, для заводов по переработке древесной стружки на плиты, широко используемые в жилищном строительстве. Советский Союз помог нам подняться, встать на ноги, и теперь мы гордимся, что, со своей стороны, можем внести какой-то вклад в развитие некоторых отраслей советской промышленности.

Научно-техническое сотрудничество между нашими странами развивается очень успешно. Сотни наших инженеров, мастеров и рабочих приезжали в СССР учиться передовому опыту, а советские специалисты бывали у нас. Обмен опытом, технической документацией, совместная работа над многими проблемами приносят замечательные результаты. Сейчас около 50 заводов Польши установили прямую связь с предприятиями Советского Союза, соревнуются, обмениваются делегациями.

Много можно было бы сказать о культурном сотрудничестве, поездках художественных коллективов, туристов, спортсменов. Все больше прочных нитей дружбы связывают наши народы.

— Товарищ посол, благодарю Вас за интересную беседу. Быть может, Вы хотели бы передать что-либо нашим читателям?

— Ну, прежде всего необходимо уточнить ваш вопрос. Дело в том, что я сам активный читатель «Огонька». Что же можно сказать всем нам? Я восхищен огромным успехом, который достигнут советским народом, его рабочими, конструкторами, учеными,— первым полетом в космос, совершенным Юрием Гагариным. Это успех всего социалистического лагеря, яркое доказательство превосходства коммунистических идей, превосходства строя, который эти идеи реализует, людей, которые за эти идеи борются. Полет Юрия Гагарина — это подарок и польскому народу.

Я передаю всем советским друзьям братский, искренний привет, желаю им дальнейших больших успехов, новых великих подвигов в строительстве коммунистического общества. Желаю им большого счастья в личной жизни и в труде. Наши страны — друзья, братья, соратники. Мы все составляем одну большую социалистическую семью свободных народов, мы уверены, что наши идеи восторжествуют, что семья наша будет расширяться, что социализм победит во всем мире, открыв невиданный простор для могучих творческих возможностей человека.



Советский Союз с официальным визитом посетил премьер-министр правительства королевства Лаос принц Суванна Фума.

Фото А. Бочинина.

ПОЭТЫ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА

Сыну московской третьей гильдии купца Гончарной слободы Алексею Саврасову было 14 лет, когда он начал рисовать на продажу акварельные рисунки. В них над океанами, никогда не виденными мальчиком, летели ураганы и грозы, вулканы извергали смертоносную лаву, ветры гнули деревья до самой земли. Потом Саврасов стал настоящим художником. Он понял: за красотой не надо на крыльях воображения пускаться в дальние страны. Красота с нами всегда. Ее только надо разглядеть. И он ее разглядел. Он писал поля и проселочные дороги, домик под соломенной крышей, цветущие яблони и птиц в солнечном синем небе. Он учил бережно относиться к своей стране, любить ее, вглядываться в нее так, как вглядываемся мы в черты дорогого для нас лица. Он говорил: в России все прекрасно. Он умел написать грязную проселочную дорогу и несколько ветел, растрепанных ветром, так, что все это, тысячи раз виденное нами в жизни, на картине поражало, как чудо.

Саврасов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Вот как Константин Коровин, учившийся у него, писал о своем учителе: «Часто я его видел в канцелярии, где собирались все преподаватели. Сидит Алексей Кондратьевич, такой большой, похож на доброго доктора — такие бывают. Сидит, сложив както робко, неуклюже свои огромные руки, и молчит, а если и скажет что-то,— все как-то про не то — про фиалки, которые уже распустились; вот уже голуби из Москвы в Сокольники летают...»

Саврасов входил в мастерскую к студентам и сообщал им важные новости: появились первые муравьи... кора на дубах высохла... совсем повесеннему кричат воробьи... Он, как влюбленный, не спускал глаз с пейзажа. И ему удалось создать удивительную картину, которую каждый из нас наизусть знает с детства. Это «Грачи прилетели». Без нее нельзя себе представить русской пейзажной живописи.

В Третьяковской галерее картины Саврасова висят в маленьком зале. Здесь выставлены произведения только двух художников — Саврасова и Федора Васильева. Оба писали природу с вниманием натуралистов и вдохновением поэтов. Люди разных судеб, разных темпераментов и разных склонностей, они одинаково любили русский пейзаж.

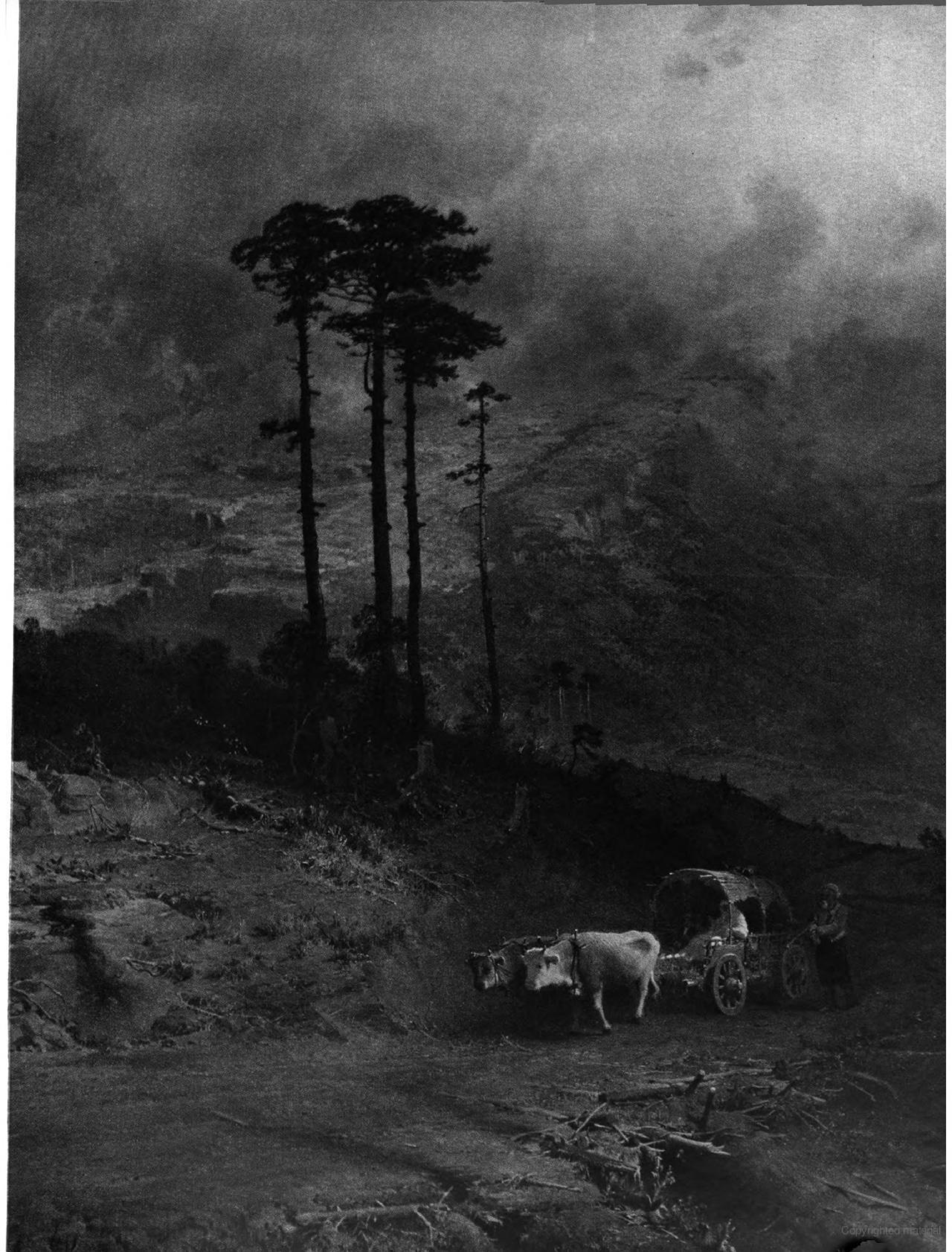
Федор Васильев говорил: «Если написать картину, состоящую из одного этого голубого воздуха и гор, без единого облачка, и передать это так, как оно в природе, то, я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен и покажется во всей своей безобразной наготе. Я верю, что у человека, в далеком, конечно будущем, найдутся такие художники, и тогда не скажут, что картины — роскошь развращенного сибарита»... Васильев умер от чахотки в 23 года, но за свою короткую жизнь он создал картины, которые стали гордостью русской живописи. Крамской называл его музыкантом за тончайшее настроение, за «музыку» пейзажей. И «музыка» эта прославляла все то же: красоту берез и елей, полей и рек, восходов и тихих летних вечеров — красоту обработанной, обжитой, облюбованной народом земли. Правда, он может, например, в картине «Оттепель» изобразить русскую деревню так уныло, так безотрадно, выразить свинцово-серым и коричневым цветом такую грусть, что картина эта воспримется как горькая песня о нищете и обездоленности народа. Но чаще Васильев любовался русской землей, как испокон веков любовался ею народ...

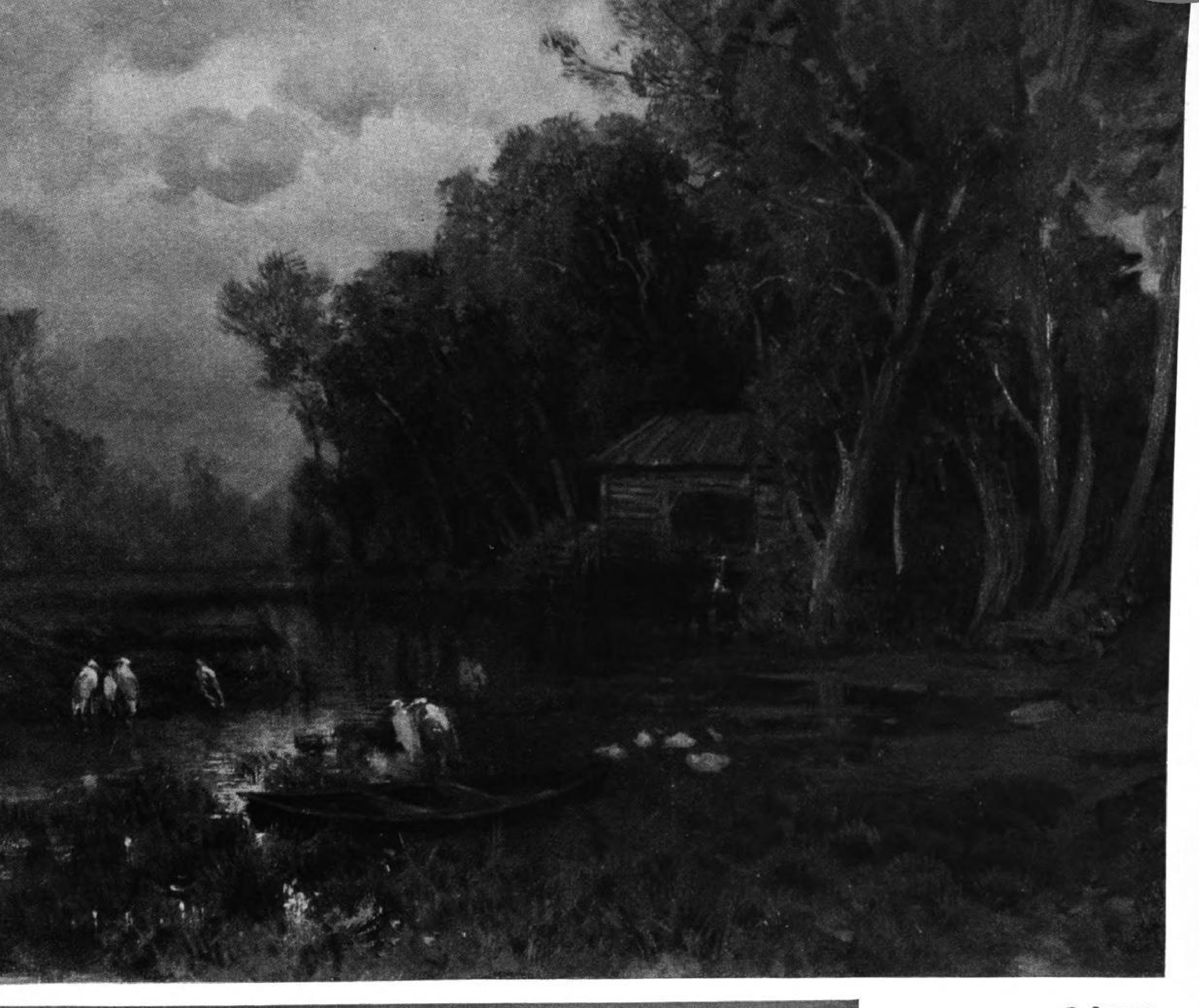
Живя последние два года в Крыму, больной чахоткой Васильев тоскует о родном, привычном пейзаже и на берегу моря, среди кипарисов и акаций, пишет серо-серебряное, подернутое тучами небо средней России, пишет свою «Заброшенную мельницу»... Последний отблеск пробивается сквозь тучи и холодной серебряной рябью дробится в воде небольшого пруда. Рядом — давно замолчавшая мельница. Тишина. На берегу лежит ветхий, почерневший от времени челн. В воде белеют притихшие цапли. Скоро наступит ночь.

Изображая природу Крыма, Васильев дает нам всегда понимание пейзажа как места, где протекает жизнь народа, где человек размышляет о своей судьбе и судьбах мира. И глядя на красоту неба, деревьев, камней, человек сам становится лучше и чище, и все прекрасное в его душе получает поддержку в бессмертной красоте природы.

А. ЖУКОВА.

Ф. Васильев. В КРЫМСКИХ ГОРАХ.→





Ф. Васильев.
ЗАБРОШЕННАЯ МЕЛЬНИЦА.

МОРСКОЙ ВИД.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ

Арон ВЕРГЕЛИС

«...Объявляется день открытых дверей».

Сердец открытых объявляю день я!
Кто хочет, пусть войдет хоть на мгновенье,
но может оставаться и навек он
в моей душе.
С хорошим человеком
сживется сердце и во всем поладит,
а скверного само оно отвадит.

Не суйтесь в сердце, лица в масках. Сердце
захлопнется пред вами, точно дверца
железной клетки. В сердце мне не лезьте
ни для запугиванья,
ни для лести.
Поймите: в сердце, для друзей просторном,
нет места для субъектов с сердцем черным.

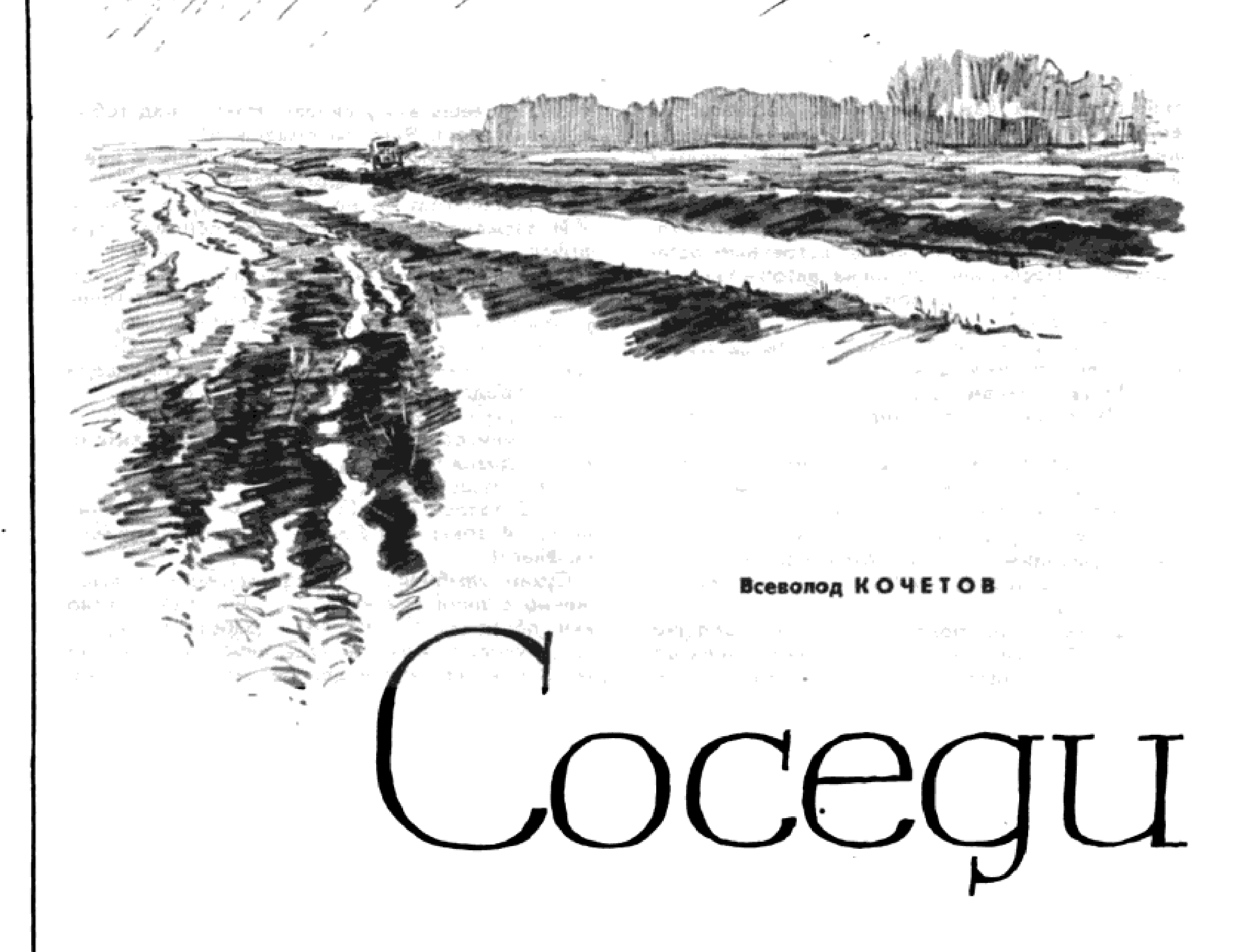
Предупредил так одного-другого,
и убрались бродяги из-под крова,
но сердце не осталось сиротою:
стал круг теснее, но просторней вдвое.
Сердец открытых объявляю день я:
кто хочет,
пусть заходит без стесненья!

Хожу полями, чащами лесными.
Не прячусь, не ношу чужое имя;
к друзьям своим иду и не таюсь я,
и говорить открыто не боюсь я.
С людьми встречаюсь на путях-дорогах,
и появляюсь на чужих порогах,
и разговариваю на распутье:
— Открыто сердце,
в нем, как дома, будьте!
Дружить давайте,— говорю я людям,—
вот так все вместе счастье раздобудем.
Сердец открытых объявляю день я:
кто хочет,
пусть заходит без стесненья!

Иду на площади, иду я в скверы,
стремлюсь в моря, в заоблачные сферы...
И всюду люди мне спешат навстречу.
Открыто сердце? — вот о чем их речи.
Открыто!
И вступают шагом смелым
и чернокожие и люди с белым телом.
С глазами серыми и с голубыми.
Заходят старцы вместе с молодыми.
Кто здоровенны, кто не так плечисты,
но главное, чтоб руки были чисты,
и только б сердца не черствила злоба,
и чтоб с гнилой душой ни одного бы!
Свободный, сильный,
с непомеркшим взором,
я по далеким шествую просторам:
мне с малышами нянчиться отрада,
в лугах пасу я с пастухами стадо.
Любые небеса гостеприимны —
повсюду песни
и повсюду гимны.

Ждут люди,
чтобы их благословили.
И я хочу,
чтоб в людях люди жили.
И лишь, злодей,
надеяться на милость
не смей!
Для злобы сердце не открылось!
Уж если день сердец открытых — это
день, чтоб в сердца вошли потоки света.
И я хочу, чтоб свет вошел туда
навечно,
бесконечно,
навсегда!

Перевел с еврейского
Леонид МАРТЫНОВ.



Всеволод КОЧЕТОВ

Соседи

Рисунки Л. ХАЙЛОВА.

1

Вездеход свернул с государственной бетонной дороги, и начались дороги «местного значения». Пошли гати, колдобины, целые озера грязной, черной воды, которая веерами расхлестывалась по обе стороны машины; издали машина казалась каким-то зеленым насекомым, у которого, то опадая, то вздымаясь, трепещут тонкие сверкающие крылья.

Роман Прокофьевич Бойко изо всех сил работал рулем: на разъезженных, скользких колеях, глубоко врезанных в мокрую глину, машину поминутно сносило то вправо, то влево, то просто в придорожную канаву, которую все шоферы, а за ними и ездоки со времен войны называют не иначе, как «кювет».

Когда-то Бойко непременно бы высказался по поводу дорог области, но он уже давно перестал делать такие попытки, считая их бесполезными. Только по тому, как стиснуты его губы, как зло щурит он глаза от солнца, Василий Антонович мог догадываться о бурях, бушующих в душе шофера.

Василий Антонович сидел рядом с Бойко. Сзади расположились второй секретарь обкома Лаврентьев, большой знаток сельского хозяйства области, и Костин, заведующий отделом, занимающимся делами этого нелегкого хозяйства. В тот день, когда Соня уехала в Ленинград, в обкоме было получено решение Бюро ЦК по Российской Федерации заслушать в начале июня сообщения нескольких областей об итогах и уроках весеннего сева. В приложенном списке была и Старгородская область. Соня задержалась в Ленинграде улаживать какие-то дела; он, Василий Антонович, чуть ли не каждый день выезжает в районы, чтобы сделать доклад не по сводкам, не по бумагам, а по живым собственным наблюдениям.

На этот раз в поездку с собой он захватил Лаврентьева и Костина. Втроем они решили доехать до самого дальнего района, где Старгородчина граничит с известной своими успехами Крутогорской областью. Ходят слухи, что у соседей яровые давно взошли и чуть ли не колосятся, а на Старгородчине все еще сеют. «Если это так,— сказал Василий Антонович, собираясь в путь,— то, следовательно, мы работаем хуже, чем крутогорцы. Значит, у нас слабина в организации дела. Климат-то ведь тот же, что и у них, и земли ничем не отличаются».

Его подбрасывало на сиденье. Он сидел, засунув руки в карманы кожаного, «командировочного», черного пальто, сохранившегося с войны — еще видна на уголках воротника стежка от спороты петлиц,— смотрел вперед сосредоточенно. Лаврентьев и Костин вполголоса разговаривали позади, он их не слышал. В мыслях все перемешалось: и эта ужасная история со смертью Сашеньки и уйма проблем, связанных с дальнейшей жизнью и судьбой Шурика,— Соня звонила вчера, что он ни за что не хочет отдать Павлушку, что Павлушка для него сейчас все, что осталось ему от Сашеньки, он с этим расстаться не может. Ну и как же быть? Личное врезывалось в раздумья над предстоящим докладом. А поразмышлять было о чем.

После недавней ликвидации МТС далеко не все колхозы повели себя как надо. Одни нахватали, накупили машин столько, что на целый район бы пришлось, и, конечно, машины у таких простаивают. Другие, желая побольше раздавать денег на трудодни, всячески изворачивались, чтобы вовсе не покупать машин, да вот и не справляются с посевной. Иные избегают отдавать свои машины для ремонта на государственные ремонтные станции, ремонтируют сами, своими средствами, ремонтируют плохо, кустарно, неквалифицированно. Кое-где ослабла забота об агротехнике, о научном ведении земледелия. Агрономы из таких хозяйств разбежались кто куда. Все это надо преодолевать, преодолевать терпеливо и так, чтобы организационно-структурные неувязки не мешали плановому ходу работ в колхозах и совхозах.

Дорога шла на юго-восток. Солнце светило прямо в ветровое стекло, в лица. Майский день начинался ярко и празднично. Слепяще вспыхивала вода в колеях, в канавах, в старых воронках от бомб, в осыпавшихся траншеях. Веселая, бодрая зелень пробивалась из черной торфянистой земли; зеленели кривые березки на болотах; завидев машину, чибисы настороженно и недовольно подымали свои сердитые хохолки и, взлетая, пронзительно и грустно кричали. На окрестных высотах были видны деревни; вокруг них, по косогорам, голубыми дымками дымили тракторы; ветер гладил по шерстке зеленую щетину пошедших в рост озимых хлебов. Навстречу по дороге, что корабль, переваливаясь с боку на бок, разрезая носом мутную волну, шел тяжелый грузовик, за ним тащились второй и тре-

Из романа «Секретарь обкома». Роман будет напечатан в журнале «Звезда» №№ 7—9.

тий. В кузовах каждого из них, держась за верх кабинки, стояли и самозабвенно пели девчата; ветер рвал с их разметанных желтых волос цветные платки.

Бойко посторонился, пропуская колонну. Василий Антонович отворил дверцу, высунулся, стал махать рукой, чтобы встречные остановились. Последний грузовик затормозил.

— Чьи машины, товарищи? — спросил Василий Антонович.

— Колхоза имени Фрунзе! — чуть ли не хором ответили ему девушки.

— Куда и зачем едете?

— На станцию за минеральными удобрениями!

— Желаю успеха. Привет вашему председателю. У вас Зубавин председателем?

— Зубавин. Илья Григорьевич!

— Ну вот, привет ему. Непременно.

— Передадим, товарищ Денисов. Не беспокойтесь. А к нам-то заедете, или как? Может быть, мимо?

Грузовик, рыча, поплыл догонять ушедшие машины. Тронул с места и Бойко. Денисов улыбался. Ему было приятно, что его узнали. Какая-нибудь из этих певуний была на областном слете передовиков; может быть, по телевизору видели... Мало ли где! Да и в колхоз он приезжал. Давненько, правда, в позапрошлом году, когда только что стал секретарем обкома. Они правы: да, мимо, мимо. Колхоз имени Фрунзе — хороший колхоз. Особых забот он уже не требует, прочно стоит на ногах. Едешь обычно только туда, где дело не клеится, где отстают, не справляются, где нужна помощь. А жаль, жаль! Почему бы не полюбоваться на хорошую работу, на людей, которые обрели уверенность в себе, в своих силах, которые плохо работать и плохо жить уже не могут? «И в самом деле, не завернуть ли к фрунзенцам?» — возникло желание. Нет, пожалуй, нет, время дорого, путь дальний и плохой. В другой раз, пусть поспокойней станет, пусть поубавится забот.

Солнце уже двинулось вниз, когда, преодолев песчаные зыби в живописном лесу из могучих, как бронзовые колонны, вековых сосен, выехали на крутой и высокий берег реки. Речка, правда, была пустяковая. Внизу, под обрывом, через нее на тот, низменный, берег был перекинут дощатый мостишко. Но обрыв высился так внушительно, что можно было предположить, будто он служил когда-то берегом большой многоводной реки.

За рекой, за мостом, к которому, сползая с обрыва зигзагами, вела проселочная дорога, лежало большое селение. За ним далеко по равнине тянулись поля, луга, сенокосы — до черных лесов на горизонте. А на обрыве, располагаясь в линию вдоль него, над рекой стояло другое большое селение. Заречное село так и называлось — «Заречье». Село над обрывом именовалось Заборовьем, потому, должно быть, что ехать к нему надо было через тот вековой сосновый бор. Речка Жабинка была не только границей меж угодьями двух селений — Заборовья и Заречья,— она служила границей и для двух областей — Старгородской и Крутогорской.

Остановились на минутку над обрывом, вышли из машины. Запах леса, воды, полей — весны — был такой густой и могучий, что от него, как от вина, подламывались ноги. Опуститься бы на молодую травку, откинуться на спину и, как бывало в давнем детстве, смотреть, смотреть в небо, следить, как плывут куда-то белые паруса высоких, медленных облаков, раздумывать, мечтать!..

Было так, было лет сорок назад в большом селе Ополье, где родился Василий Антонович, возле станции Веймарн, на дороге Петроград — Нарва. Удерешь за кладбище к лесу, лежишь и смотришь в небо — смотришь и мечтаешь. Мечты казались пылкими, несбыточными. Но думалось ли маленькому лобастому Ваське, с большими, серыми, сердитыми глазами, который с интересом, с почтением и удивлением смотрел на каждого приезжающего из города, на каждого «представителя»,— думалось ли ему в ту пору, что вот когда-то и он сам станет «представителем»?

— Знаешь, Василий Антонович,— сказал Лаврентьев, широко разводя руками, чтобы побольше лесных ароматов вместила грудь,— бывало, ляжешь на травку и смотришь в небо. Интересно как-то получалось: будто ты летишь, падаешь в эту синеву. Не она над тобой, а ты над нею. Чего ты смеешься?

— Я не смеюсь, я говорю: летишь в нее и раздумываешь. Так, что ли?

— Абсолютно точно. А ты откуда знаешь?

И засмеялись оба, отлично понимая друг друга.

В селе их никто не встретил, о своем приезде они не предупреждали. Но едва машина остановилась перед правлением колхоза, тотчас стал собираться, сходиться народ. Оповещенный кем-то, пришел вскоре и председатель, представился:

— Сухин, Иван Савельевич.

— Денисов,— назвал себя Василий Антонович, подавая руку.— А это товарищ Лаврентьев, это товарищ Костин.

— С товарищем Костиным мы хорошо знакомы. А товарища Лаврентьева кто в области не знает!

Сухин улыбнулся. Но настороженное выражение с лица его не сошло. Василий Антонович догадывался, почему: работает первый год, руководитель молодой, опыта еще немного. Зачем нагрянули два секретаря обкома да заведующий отделом, не знает, особого добра от такого наезда не ждет; ждет, поди, проработки, накачки, какого-нибудь подтягивания подпруг.

— Может, чайком угостите, Иван Савельевич, а? — Василий Антонович решил сразу разрушить стену официальности.— Весь день едем голодные. А воздух у вас чудесный, лучше всяких аппетитных капель.

Сухин оживился.

— Пойдем ко мне или в столовую?

— В столовую лучше,— сказал Костин.— Чего твою хозяйку беспокоить. Она же у тебя больна.

— Поправилась, товарищ Костин. Операцию зимой сделали, и поправилась, совсем здоровая стала. Это ее аппендицит мытарил.

Все-таки пошли в столовую. И Василий Антонович и Лаврентьев посчитали, что так лучше будет. Они по опыту знали, что их приездом взволнуется все население колхоза, что многочисленные желающие посмотреть на представителей обкома в дом к Сухину не вместятся, будет давка и духота и хозяевам беспокойство.

И не ошиблись, конечно. В столовую, где им подали щи и макароны с мясом, мало-помалу набилось человек сто, большинство мужчины, но и женщины тоже были; кто-то стоял в дверях и не впускал ребятишек — они заглядывали в распахнутые окна.

Василий Антонович и Лаврентьев расспрашивали о ходе сева, о том, как перезимовали животноводческие фермы. Их, в свою очередь, расспрашивали о международных делах, хотя радио в колхозе есть, но услышать про такие дела от секретарей обкома — источник вроде понадежней; расспрашивали про всяческие слухи, которые какими-то силами всегда разносятся по дорогам.

Василий Антонович любил разговоры с людьми. Это были крутые разговоры, без дипломатических увертак, прямые, открытые. Ты открой свою душу — и перед тобой душу откроют.

Что касалось посевной, то в Заборовье зерновые посеяли, кончают сажать картошку. Задержка с чем? С овощами. Плохо овощеводческое дело механизировано. Все вручную да вручную. А как у соседей, за рекой? Так же, Василий Антонович, буква в букву. А с чего бы иначе быть? Земля не лучше, не хуже. Климат? Один климат. Люди? Да у нас есть такие, что живут там, а работают здесь: ветфельдшер за рекой снял квартиру; а есть, что живут здесь, а работают там: две учительницы. Одинаковые, в общем, люди.

— Вы вот что нам скажите, товарищ Денисов...— Из-за дальнего стола поднялся молодой черноволосый парень, красивый и, видимо, здоровый, сильный.— Вот как предполагается приближать жизнь деревни к жизни города? Я к чему это говорю? К тому, что, понимаете, народ у нас тут семилетки кончает, некоторые и десятилетку. Это же среднее образование. В старое время много ли кто гимназии кончал? А у нас каждый ее кончать должен, верно? Поучишься семь или десять лет, мир-то для тебя куда шире твоей деревни станет! Ты и про Древний Египет знаешь, про фараонов там, про их архитектуру, про искусство, ты и с эпохой Возрождения знаком, и про Кромвеля кое-что слышал. Ядерная физика, электронные машины, кибернетика...

— Да ты, Коля, ближе к делу! — крикнули ему.— А то вроде лекции.

— А я и говорю о деле. Вы меня извините, товарищ Денисов, все сейчас объясню. Вот, например, наша изба, где моя семья живет. С одной стороны, как говорится, на полках триста двадцать книг стоят, даже художественные альбомы есть: сто репродукций с картин Эрмитажа да сорок пять с картин Дрезденской галереи. А с другой стороны, у нас уборная за огородом. Извините, что про такую прозу. Водопровод? Нету. Мать встает в четыре утра да с колодца ведрами таскает. Стены продувные, на зиму завалинки надо делать, соломой да кострой до половины окон обшивать дом. Рамы в окнах одинарные. Говорят, скоро до нас телевидение дойдет...

— Дойдет,— подтвердил Лаврентьев.— Релейную линию через область уже тянут.

— Ну вот,— продолжал молодой оратор.— Мы бы телевизор, например, купили. И все равно купим. Но что получится? В одном углу телевизор будет стоять, а из другого на него, на то, как «Лебединое озеро» танцуют, будет телок наш смотреть. Новорожденных-то телят зимой в дом таскаем.

«Прав этот парень,— думал Василий Антонович,— совершенно прав. Заборовье — это еще сравнительно благоустроенное село, на сухом месте стоит, дома прочные. А есть и такие селения, которые только на снос годятся».

А паренек все говорил:

— У нас, было такое время, бежали из деревни. И не только молодежь — взрослые бежали. Но тогда бежали по экономическим причинам: плохие заработки в колхозе были. Сейчас положение изменилось. Заработки лучше стали. Так тем более, куда молодежи деваться? Мы хотим жить весело, чтобы развлечения были. Одного кино раз-два в неделю нам мало. Пусть бы театр организовался на несколько колхозов. Пусть бы не чайная была, а хорошее кафе, радиола бы в нем играла, и водки бы там не продавали. Пусть бы...

Он много наговорил. Молодежь из углов кричала: «Правильно! Точно!» Это уже была совсем другая молодежь деревни, совсем не та, что двадцать или даже десять лет назад. Василий Антонович и радовался, слушая эти выкрики, и горевал. Радовался такому огромному сдвигу в человеческом сознании, горевал оттого, что в год, в два и даже в пять невозможно удовлетворить все претензии, какие предъявляет сегодня деревенская молодежь к быту, к культуре.

— Мы бежать не собираемся,— закончил оратор горячо.— Мы свое село любим. Но мы хотим, чтобы нам помогли поскорее сделать его лучше, чтобы и в него пришло то, что есть в городе, что нас увлекает, что нас манит. Имеем мы на это право?

Василий Антонович отвечал. Говорил он долго. Его внимательно слушали. Он говорил о том, что у партии, у Советского правительства мечта, чтобы как можно скорее в села пришла культура, подобная городской. Говорил о больших планах всенародных переустройств. Он говорил о строительстве клубов, о самодеятельных народных театрах, о том, что дома колхозные надо строить по-другому — отказываться от избушек на курьих ножках, от этих непременных трех оконец на улицу. Само существование избушек мешает устройству водопровода, канализации. А ведь, что говорить, даже новый дом строят — и все по стародедовскому стандарту.

— Мы готовы в квартиры переехать! — крикнул кто-то.— Пусть будут двухэтажные, хоть трехэтажные большие дома. Да чтоб только по-настоящему все!

Беседа затянулась допоздна. Василий Антонович поинтересовался, а где парторг колхозной партийной организации. Сказали, что в районе, утром непременно вернется.

Ночевать пошли к председателю, к Сухину. Там в горнице были расставлены раскладушки, на них положены тюфяки, набитые сеном, постелено чистое, свежее белье. Хозяйка, жена Сухина, хлопотала, приглашала ужинать. Но куда уж тут было! И без того наелись. Хотелось лечь, встали ведь рано, утомились за день.



Костин залег на раскладушке под раскидистым фикусом, Бойко, взяв одеяло и подушку, отправился на сеновал. Василий Антонович с Лаврентьевым вышли в огород.

— Вот такое дело, — рассуждали они, — парень прав: бегать черт знает куда надо. Хорошо, если здоровый да погода такая теплая. А если захворал да метель на дворе, мороз сорок градусов?

Они нашли в потемках лавочку среди яблонь, сели.

— Был я агрономом,— сказал Лаврентьев.— Окончил институт перед войной. Война. В артиллерии служил, батареей командовал. Потом облземотдел — инвалид, дескать. Самое подходящее дело — канцелярия. Не усидел в канцелярии, в поля махнул. Село такое было— Воскресенское, теперь поселок Ленинский. Знаешь его, Василий Антонович,— в Горбатовском районе. Двенадцать лет прошло, а как все переменилось! Особенно люди. Яблоню посадить, куст смородины — для этого добрый месяц агитировать надо было. Денег, мол, нет — одно отвечают. Договор на обработку машинами заключать — тоже торговля какая шла: сами, дескать, справимся. На лошадях да вручную. А сейчас заставь кого-нибудь вот тут, в Заборовье, вспахать хотя бы пять гектаров конным плугом — засмеют.

Сидели, вспоминали каждый свое. Лаврентьев — дела колхозные, Василий Антонович — дела заводские. В то время, когда Лаврентьев еще только поступал в институт, он, Василий Антонович, уже пришел на завод молоденьким инженериком. И он тоже может порассказать Лаврентьеву о тех неслыханных переменах, какие произошли в заводской жизни и вообще в промышленности.

Ветер пролетал над деревенькой, шумя в садах молодою листвой. Перекликались дергачи во тьме. Где-то слышалась гитара, и девичий голос пел под ее аккомпанемент — нет, не страдание, нет, судя по мелодии, неаполитанскую звонкую песенку.

2

Разбудил Василия Антоновича какой-то стук и бряк. Он открыл глаза. В окнах было светло. Косые лучи всходящего солнца покрыли бронзой старую березу перед домом. Прислушался: стук был отрывистый, металлический. Это был стук рогача о чугуны, стук чугунов бок о бок, глухой скрежет чугунных доньев по кирпичному поду печи, возле задней стены которой стояла раскладушка Василия Антоновича. Он приложил ладонь к беленным известью кирпичам — горячо. Хозяйка готовит завтрак — и людям, и корове, конечно, и поросенку, его повизгивание тоже слышно со двора.

Вспомнил свою мать Василий Антонович. Она вот так же вставала до света в любую пору года. Колола лучину, растапливала печь, гремела ведрами, сливая колодезную воду в кадушку, толкла толкушкой горячую картошку в большом чугуне — тоже для коровы и для поросенка. Потом начинала печь оладьи. И только тогда — не от предшествовавшего стука и бряка, а именно от этого вкусного запаха оладий, от щелкэнья масла на сковороде — просыпались и Васятка, и его два брата, и сестренка, всей оравой спавшие на печи. Бежали потом в школу по снегу — то мокрому, метельному, то скрипучему от мороза; в холщовых сумках, на которых было химическими карандашами жирно выведено: «Василий Денисов», «Михаил Денисов», «Никита Денисов», «Люба Денисова», — вместе с книгами и тетрадями несли и те испеченные матерью замечательные лепешки. Бежали в разные классы. Школа состояла из четырех классов, и в каждом из них было по представителю семьи погибшего в гражданскую войну крестьянина Антона Денисова, который, как ушел на войну в пятнадцатом году, так больше домой и не вернулся.

Он, Василий Антонович, своего отца никогда не видал: родился за месяц до его ухода, — был младшим в семье. И чтобы все они четверо смогли окончить четырехклассное, мать с утра до ночи, по двадцать часов в сутки, вертелась белкой в колесе: сама пахала поле, занимая коня и соху у соседей, сама копала огород, сбивала масло, шила, стирала, мыла полы, ездила в Ямбург на базар, чтобы продать это масло да картошку и выручить на керосин, на одежонку, на сапоги; в лесу она сама заготовляла дрова на отведенных делянках, сама их пилила, колола, возила...

Василий Антонович отбросил одеяло; было больно вспоминать о трудной жизни матери. Они, ребята, ей помогали как могли. Но много ли они могли тогда?

— Петр, вставай! — сказал он, потрогав Лаврентьева за плечо. — Проспали.

Лаврентьев выпростал из-под одеяла мускулистые, крепкие руки, потянулся.

— Сон видел хороший. Будто мы с тобой, Василий Антонович, в зале заседаний в Большом Кремлевском дворце, и нам перед полным залом переходящее знамя вручают за отличную работу. Овации, понимаешь, объятия. Весь президиум нам руки пожимает.

Он встал, в майке, в трусах, принялся приседать, разводить руками, вращать туловищем — делал утреннюю зарядку.

Проснувшийся Костин сказал:

— А я вот этого не могу, гимнастику. Врачи предписывают: надо, говорят, а то обмен будет плохой. Соберусь — начну заниматься. День пройдет, два — и обязательно чем-нибудь заболею. Раз десять так было, теперь и пытаться перестал.

— А я с детства, с пионеров, и ничего, выдерживаю,— сказал Лаврентьев.— Последний раз во время войны болел. Зуб схватило, на Волховском фронте. На передовой. Где там зубные врачи, никто не знает. Всей батареей лечили. Один говорит: «Товарищ старший лейтенант, водка хорошо помогает». «А как, — говорю, — внутрь или на зуб?» «Да ведь кому как, — говорит. — Мне, — говорит,— лучше, когда внутрь. Ну вы и то и другое попробуйте». Другой махорку жевать предлагает. Третий — кислоты какой-нибудь покапать. Ну, потом один врач из медсанбата приехал. «Щипцы, — говорит, — у меня есть, чем дергать. Но только предупреждаю, товарищ старший лейтенант, я не зубной врач, ничего этого не умею, я невропатолог, по части нервных болезней. Рискнете?» А что было делать? Рискнул. Вдвоем за эти щипцы ухватились — выдрали. А больше вот как-то болеть не приходилось. Если, конечно, не считать того, как меня колхозный бык чуть было на тот свет не отправил, да ранения на фронте, из-за чего рука долго не действовала, да и то заработала тоже через физические упражнения.

— Завидую,— сказал Костин.— А у меня организм уж очень податливый. Пойду-ка поищу рукомойник.

— На речку сейчас пойдем,— остановил его Лаврентьев. — Тоже мне, рукомойник! Закаляться сейчас будешь. Ясно?

В сенях их встретила хозяйка.

— А покушать-то, покушать!.. Куда же вы?

— Спасибо, спасибо,— поблагодарил Василий Антонович.— Сейчас вернемся. На речку только сходим. А хозяин ваш где?

— По делам пошел. Должно быть, вот-вот вернется.

Сползли по сыпучим пескам обрыва к береговой кромке. Василий Антонович и Костин начерпали песку в ботинки.

— Сапожки, сапожки надо носить,— посмеивался Лаврентьев, подтягивая голенища.— Баретки ваши не для сельской жизни.

Речка, хотя она и называлась Жабинкой,

струилась по песчаному руслу, вода в ней была прозрачная, чистая, никаких жаб не видно, в глубине ходят полосатые окуньки, поверху стреляют в разные стороны темно-зеленые тоненькие щучки.

У Костина был чемоданчик, в нем мыло, полотенце, механическая ленинградская бритва, заводившаяся пружиной, как патефон. С помощью этих средств принялись приводить себя в порядок, стали мыться свежей, студеной водой из реки. Костин охал:

— Пальцы сводит. Как бы не было обострения.

С обрыва к ним вскоре спустился Сухин. За ним съехал высокий человек лет тридцати, представился:

— Лисицын. Парторг.

Завтракали вместе. Василий Антонович подробнейшим образом расспрашивал Лисицына о работе партийной организации. Лисицын рассказывал о собраниях нескольких последних месяцев, о тех вопросах, какие обсуждались, рассказывал о коммунистах, о том, как выполняют они поручения. Но было в его рассказах нечто такое, что насторожило Василия Антоновича. Получалось как-то так, словно бы не парторг сидел перед Василием Антоновичем, не руководитель партийной организации колхоза, а кто-то вроде второго председателя правления, будто бы его двойник. О весеннем севе Лисицын рассказывал точно так же, как рассказывал вчера Сухин. О животноводстве — теми же словами. Одни и те же случаи называли и Сухин и Лисицын, одни примеры, одни цифры.

— А вот нам тут вчера ваша молодежь предъявила счет на культуру. Серьезный счет. Культуры хотят люди. Что вы об этом думаете, товарищ Лисицын?

— Так, видите ли, Василий Антонович,— заговорил Лисицын,— культуру можно строить только на крепкой материальной базе. Прежде всего мы и занимаемся хозяйством, ставим на ноги полеводство, животноводство...

— Это верно, это верно,— согласился Василий Антонович.— Но ведь у вас уже определенная и неплохая материальная база есть. Будет неправильным думать, что за культуру можно браться только тогда, когда материальные блага подымутся выше человеческого роста.— Он отмерил ладонью над головой.— Надо же вести работу параллельно. Чем больше материального, тем успешнее пойдет дело с культурой, и чем больше культуры, тем успешнее будут хозяйственные дела. Они друг друга будут подталкивать, тянуть, помогать одно другому. Разве не так?

— Да оно, конечно...

— С партийной учебой у вас, видите, неважно, с идейным воспитанием. А без этого какие мы коммунисты, без идейного вооружения! Так просто, хозяйственники. Вот я вам скажу, товарищ Лисицын, и вы, товарищ Сухин, послушайте. Наши противники из капиталистического лагеря обычно нажимают на то, что, дескать, вы, коммунисты, то есть мы с вами, не нашли такой движущей прогресс силы, которая была бы равна силе, действующей у них,— силе частного предпринимательства, частной инициативы, когда есть конкуренция, которая заставляет-де напрягать творческую мысль и все время искать новое и новое, чтобы не отстать в этой борьбе и не слететь с круга,— словом, силе частной наживы, силе набивания кубышки. Человек, мол, так устроен, что дороже кубышки для него ничего на свете нет и быть не может. Сейчас они, между прочим, в связи с нашими успехами в ракетной, например, технике, в которой мы блестяще обогнали Америку, призадумываются: а нет ли у нас силы, которая не только равна их частничеству, но еще и превосходит его?

Василий Антонович отставил пустой стакан, достал папиросу, закурил.

— И они в своем прозрении правы: такая сила у нас есть. Она возникла вместе с нашей марксистско-ленинской, Коммунистической партией. Это сила идей, сила идейности. Почему же партия, выросшая из горстки людей, сумела стряхнуть с плеч народа и трехсотлетнюю династию Романовых, и авантюристическое правительство Керенского; сумела отбить контрреволюционный поход четырнадцати империалистических держав, разбила белогвардейщину: деникиных, врангелей, красновых, юденичей, колчаков; сумела неизмеримо поднять хозяйство страны, неизмеримо против того, что было при Николае Романове, то есть при частном предпринимательстве; сумела отбить нападение гитлеровской Германии, отбить и разбить фашистские армии, уничтожить само государство Гитлера; сумела построить социализм и строить коммунизм? Почему? А потому, что сила кубышки,— конечно, могучая сила, но сила идей выше ее. У нас есть такое ходячее изречение: на одном энтузиазме этого, дескать, не построишь. Правильно, энтузиазм должен быть подкреплен материально. Но нельзя забывать и того, что поначалу-то Советское государство строилось почти на одном энтузиазме. Ничего ведь не было: ни машин, ни оружия — ничего, словом. А сейчас чего уж говорить «На одном энтузиазме»? Сейчас мы имеем мощнейшую материальную базу, мы второе по экономической мощи государство в мире, недалек день, мы будем первым государством, мы с вами, во всяком случае, доживем до такого дня. Словом, сила у нас есть, сила идей, ее надо укреплять и наращивать. Капиталистической конкуренции она противопоставляет социалистическое соревнование. Ваша первейшая обязанность, товарищ Лисицын, — идейное воспитание и коммунистов и беспартийных, и развертывание на этой основе социалистического соревнования. Они там, в капиталистическом мире, ошибаются: у нас тоже есть кубышка, но кубышка не частная, а общественная, государственная. Существует она, конечно, не как самоцель, а как средство для всестороннего, широкого развития человека, для удовлетворения его все растущих и растущих потребностей. Вот коммунизм. Как вы его мыслите, товарищ председатель и товарищ парторг колхоза?

Сухин повертел на блюдце стакан с остывшим чаем, сказал:

— От каждого по способностям, каждому по потребностям.

— А вы, товарищ Лисицын, как думаете?

— Да так же, как Иван Савельевич.

— Вы правильно оба думаете. Но потребности ведь мыслятся для человека не только в материальном. Если бы человек был просто животное, ему бы и нужна была только еда в изобилии, да поскольку он бесшерстное в отличие от других животных, то и одежа в изобилии, на все сезоны разная, а еще, поскольку он склонен к комфорту, разные предметы домашнего быта и так далее. Но он же существо разумное, существо не только материальной, а и духовной жизни. Поэтому потребности у него тоже не только в изобилии материального, но и в изобилии духовного. Мы вчера здесь это явственно слыхали. Правда, товарищ Сухин? Ну вот почему же мы не можем себе представить человека, духовная потребность которого — заботиться о других, помогать другим, работать для других? Вы, товарищ Сухин, вы, товарищ Лисицын, неся свои нелегкие обязанности председателя и парторга, работая для других, заботясь о других, вы много откладываете в свою кубышку?

Лисицын только засмеялся. Сухин сказал:

— Был бы я не председателем, а бригадиром или даже рядовым колхозником, я бы заработал больше. Я работы не боюсь, люблю работу. У нас свинари каждый вдвое против председателя зарабатывает. Доярки есть — дай боже заработки!

— Ну вот, а доставляет вам хоть какое-нибудь удовлетворение, какое-нибудь удовольствие ваша работа председателя?

— Так ведь, когда дела идут хорошо...

— Ну, а если плохо? Бросить хочется?

— Бывает, и бросил бы. Но больше бывает иначе: сделать хочется, чтобы было хорошо. Ведь у каждого, как говорится, гордость своя есть. Что, думаешь, ты хуже других, что ли?

— И ночь спать не будешь, если дело требует, и про выходные забудешь, и про все другое? — расспрашивал Василий Антонович.

— А как же! Забудешь про все, это точно.

— Ну вот, а они думают, что только во имя кубышки можно забыть про все иное, только во имя ее не спать ночей, напрягать все силы — мускульные и умственные! Нет, наш двигатель сильнее их двигателя. Их двигатель нового уже ничего не даст, он достиг потолка. А у нашего и предела мощности нет. Побольше занимайтесь идейным воспитанием. С приемом в партию-то у вас как?

— Да с прошлого лета никого не принимали.

— Почему же? — Василий Антонович насторожился.— Передовых людей нет?

— Есть-то есть, да...— Лисицын развел руками.

— А вот доярка у вас замечательная,— сказал Костин.— Анна Зверева. Если не ошибаюсь, она беспартийная.

— Беспартийная,— подтвердил Лисицын.

— Что же так? — спросил Василий Антонович.— Лучшие люди должны быть в партии.

— Комбайнер Кукушкин,— начал перечислять Костин.— Заведующая птицефермой Садовникова. Колхозник есть такой, активный на собраниях, отличный работник, Артюхов...

— Верно, верно,— кивали при каждой новой фамилии и парторг и председатель.— Верно.

— Я вам скажу, товарищи, так,— заговорил Лисицын.— Мы бы принимали. Есть люди. Самое им место в партии. Да райком тормозит. Надо, говорит, с разбором. Спешить некуда. Зимой хотели было Кукушкина принять, а в райкоме свое: чего торопиться! Вот пусть на весеннем севе себя покажет. А он комбайнер, он в зимний период да весной по ремонту работает. Значит, только осенью покажет себя. Время-то и идет.

— Неправильно это,— сказал Василий Антонович, обращаясь к Лаврентьеву.— Пётр Дементьевич, разберись с Новомарьинским райкомом. Жалко, мы секретаря сюда не пригласили. Ну, что же, товарищи!..— Он встал.— Мы, пожалуй, поедем. Спасибо, хозяюшка, за хлеб-соль, за угощение. Оладьи у вас очень вкусные. У нас, в городе, даже в лучших ресторанах таких нет. Вот мама моя пекла когда-то, сходство определенно есть. Спасибо, до свидания!

Вышли на улицу к машине. За рекой играл духовой оркестр. Во всю трубили медные трубы. «Ух, ух, ух!..» — долетали издали басовые вздохи.

Подошли к обрыву. Начищенная медь сверкала в Заречье, на площади перед домом, над которым развевался красный флаг. Красные флаги мелькали и над толпой собравшихся возле того дома.

— Это что же у них? — поинтересовался Василий Антонович.— Праздник, что ли? Какой сегодня день?

— Сегодня в общем-то четверг,— ответил Сухин. — Но у них, и верно, вроде праздника. Переходящее знамя им вручают. Областное. За животноводство, кажется. Сам Артамонов, говорили, будто бы должен приехать.

Василий Антонович мысленно представил грузную фигуру секретаря Крутогорского обкома, его седеющую, даже на вид жесткую шевелюру, пронизывающий, тяжелый взгляд, твердую, неторопливую походку, припомнил крепкое, но немножко ленивое пожатие руки человека, который знает себе цену. Три года назад, к своему пятидесятилетию, Артамонов получил орден Ленина, а год назад его еще одним таким же орденом наградили за успехи области в сельском хозяйстве. Работать этот человек умел, жизнь в Крутогорье била ключом, о крутогорцах то и дело писали в газетах, в иллюстрированных журналах то и дело мелькали фотоснимки из Крутогорья. Киноэкранами этот народ завладел еще прочнее: то животноводы перед тобой, то мастера кукурузы, то птицеводы, то самодеятельность.

— А не съездить ли нам туда хотя бы на полчасика? — предложил Лаврентьев.— Как считаешь, Василий Антонович?

— А что делать?

— Ну, поприветствуем соседа. Визит вежливости, так сказать. Все равно же узнают, что мы тут были, а вот даже поздороваться не захотели.

— А это точно, что он там?

— Точно, точно,— подтвердил Сухин.

— Что ж, съездим,— не очень охотно согласился Василий Антонович. Как-то не хотелось навязывать себя преуспевающему соседу. Может ведь и не совсем правильно понять этот визит. Он человек такой: к секретарям ЦК ходит запросто, надо и не надо, все равно ходит.

Попрощались с Лисицыным, Сухиным, с колхозниками, собравшимися вокруг машины,

двинулись к спуску на мост. Простучав досками шаткого мостика, машина въехала на ту площадь, на которой только что гремел оркестр и алели красные флаги. К этому времени музыка умолкла, с трибунки, сколоченной из досок и обтянутой красным, уже говорились речи. Артамонов, видимо, свое сказал, потому что теперь вдоль площади летели слова благодарности за награду, говорилось о том, что зареченцы приложат все силы, но доверие областных организаций оправдают, работать будут впредь еще лучше, еще продуктивнее, добьются того, чтобы при наименьших затратах в колхозе получались наибольшие результаты.

Митинг вскоре окончился, кто-то из зареченских свертывал алое знамя, шитое золотом. Уже давно заметив приехавших, Артамонов двинулся к их машине. Шел он, как всегда, неторопливо, прочно ступая тяжелыми ногами в крепких сапогах; широкие его плечи и широкая грудь туго обтягивались черной суконной курткой, которую заметно распирало на животе; седеющая шевелюра ничем не была прикрыта, она была не по возрасту густа и буйно красива.

— Соседям почтение! — заговорил Артамонов еще издали хрипловатым, давно, видимо, сорванным голосом.— Привет, уважаемые, привет! Как же это вы собрались проведать нас? Ну, рады, рады! — Он подавал руку Василию Антоновичу, Лаврентьеву, Костину. Подал руку и Роману Прокофьевичу Бойко: — Водителю привет особый. Дорожки-то у вас в области, народ говорит, того... Героизм нужен по ним ездить.

— А у вас разве не того, Артем Герасимович? — с нарочитым простодушием спросил Лаврентьев.

— Время будет, можем прокатиться,— не глядя на него, ответил Артамонов.— Мы словами не агитируем. У нас на первом месте агитация наглядностью. Пощупай глазами, потрогай руками — убедись. Ну пошли. Нас хозяева чаем угостить хотят.

Василий Антонович начал было говорить, что времени нет, пора ехать.

— Брось, брось! — Артамонов крепко взял его за локоть. — Это, товарищ Денисов, не по-соседски будет, не по-товарищески — бежать. И не думай мне ничего доказывать. У всех времени нет, всем ехать надо. Вместе и поедем. Я вам покороче дорогу покажу до Старгорода.

Столы в клубе были выстроены большой буквой П, накрыты белыми простынями. На столах пестро и тесно раскинулись во множестве тарелки с закусками, граненые стаканы, бутылки с водкой.

— Это уж излишество! — сказал Артамонов, окинув стол довольным взглядом. — За это вам всыпать надо. В общественный карман залезли.

— Но по общественному решению,— ответил ему жизнерадостный толстяк — не то председатель колхоза, не то завхоз.— Правление заседало, все честь по чести.

— Правление! — хмыкнул Артамонов. — Ваши правленцы любое беззаконие покроют. А вы бы вот на общем собрании, у народа спросили: пропить тысчонку-другую колхозных денежек или на трудодни раздать? Что бы вам народ сказал? Учитываешь?

Толстяк понимающе засмеялся. Артамонов, все еще держа Василия Антоновича за локоть, направился вместе с ним к перекладине буквы П, к тем почетным местам за столами, где и закуски были получше и где в соседстве с водочными бутылками стояло несколько бутылок коньяку, вместо граненых стаканов там поблескивали золотыми ободками достаточно вместительные, но аккуратные стопочки.

На это торжественное пиршество в клубе собрался, должно быть, колхозный актив, люди в большинстве пожилые, серьезные. Все они деловито наполнили стаканы, а наполнив, ожидающе посмотрели на Артамонова.

— Что ж, товарищи,— сказал он, подымаясь со стопкой коньяку в своей большой, уверенной руке.— Видимо, вам предстоит тут одним, без нас, отмечать немаловажное событие в вашей жизни — получение переходящего знамени обкома и облисполкома. Мы сейчас уедем. Дела, дорогие друзья, дела! Не один ваш колхоз в области. Да и, кроме дел сельскохозяйственных, есть и еще кое-какие дела. Сами понимаете. Но вот что я хочу вам сказать на прощание: спасибо, товарищи, за вашу замечательную, героическую работу. От всей души спасибо. Будь такая возможность, обнял бы каждого. Но ведь вас тут не один и не два. Да и девушки есть, еще застесняются.— За столами засмеялись.— А мужья, те и вовсе ревновать начнут,— продолжал Артамонов. Засмеялись еще веселей.— Словом, и дальше боритесь,— говорил он,— за процветание своего колхоза, за процветание своей Родины. Ваше здоровье!

Одним духом Артамонов выпил стопку; не садясь, с вилкой в руке поискал на столе среди тарелок, чем бы закусить, нацелил было вилку на соленый огурчик, передумал, прицелился в блюдце с маринованными грибами,— бросил вилку, стал прощаться. Ему дружно и весело что-то кричали со всех сторон. Поднявшись из-за столов, шли, обступив вокруг, до самой машины.

— Садись, товарищ Денисов, ко мне,— сказал он.— Я же тебе правду говорю: покажу самый короткий путь до дому. И дорога хорошая.

— Как, товарищи?..— спросил своих спутников Василий Антонович.

— Рискнем,— ответил Лаврентьев с веселой усмешкой.

Он и Костин остались в своей машине. Василий Антонович устроился к Артамонову, рядом с ним на заднем сиденье. У Артамонова был такой же вездеход-«газик», как и у Василия Антоновича. Тронулись в толпе машущих руками, кричащих, напутствующих.

За головной машиной первых секретарей следовала целая колонна автомобилей: машина Василия Антоновича, машина председателя Крутогорского облисполкома, который тоже, оказывается, приезжал на вручение знамени, машина секретаря райкома, еще какие-то две машины, набитые людьми.

Километров десять ехали по неважной дороге, ничем не отличающейся от дорог Старгородчины.

— Обожди, обожди, — говорил Артамонов при очередной колдобине.— Увидишь. Имей терпение.— Он рассказывал о том, как здорово в области провели весенний сев, в какие короткие, сжатые сроки.— А у вас как дело? — спросил он.

— Да сеем еще. Не только с картошкой и с овощами затерло, зерновые еще сеем.

— Плохо, милый. Потеряете много. Весной, как в народе говорят, день год кормит. Наши научные деятели подсчитали: опоздание с севом на одни сутки дает потерю урожая по области в две тысячи пудов. Учитываешь? Нет, мы у себя все в кулак собрали. Рапорт Москве отправлен. Завтра-послезавтра в газетах должен быть.



— Поздравляю,— сказал Василий Антонович.

Артамонов молча и с достоинством принял его руку.

На каком-то повороте, когда объезжали колонну тракторов, сгрудившихся на дороге, Василий Антонович обратил внимание на то, что по большому вспаханному полю двигались сеялки.

— А это что? — поинтересовался он.

— Это?..— Артамонов не сразу нашел глазами шеренгу сеялок.— Там-то? Очевидно, сверх плана сеем кое-что. О перевыполнении отрапортуем отдельно.

Машина выбралась на хорошую, ровную, простругганную грейдером и укрепленную гравийной насыпкой дорогу. Понеслись со скоростью в сто километров.

— И так будет до самого Крутогорска,— сказал Артамонов довольно.— Третий год дорожную сеть в области строим. Всем организациям, всем колхозам определили свой урок. А как же иначе? Иначе ничего не будет. И воинская часть помогает, и заводы, и железнодорожники... Кто чем может. Машинами, людьми, материалами.

Через час езды по хорошим дорогам на каком-то перекрестке Артамонов попросил шофера остановить машину.

— Сверните здесь,— сказал он.— До границы областей отсюда пятнадцать километров. А там на бетонку выедете, на государственное шоссе. Видишь, не обманул вас: укорочение пути получается порядочное.

Распрощались. Артамонов сказал напоследок Василию Антоновичу:

— Ты бы заезжал, если что надо. У меня опыту побольше твоего, посоветовал бы, подумали вместе. Учитываешь?

— Спасибо. Учту. Бывает, хороший совет очень нужен.

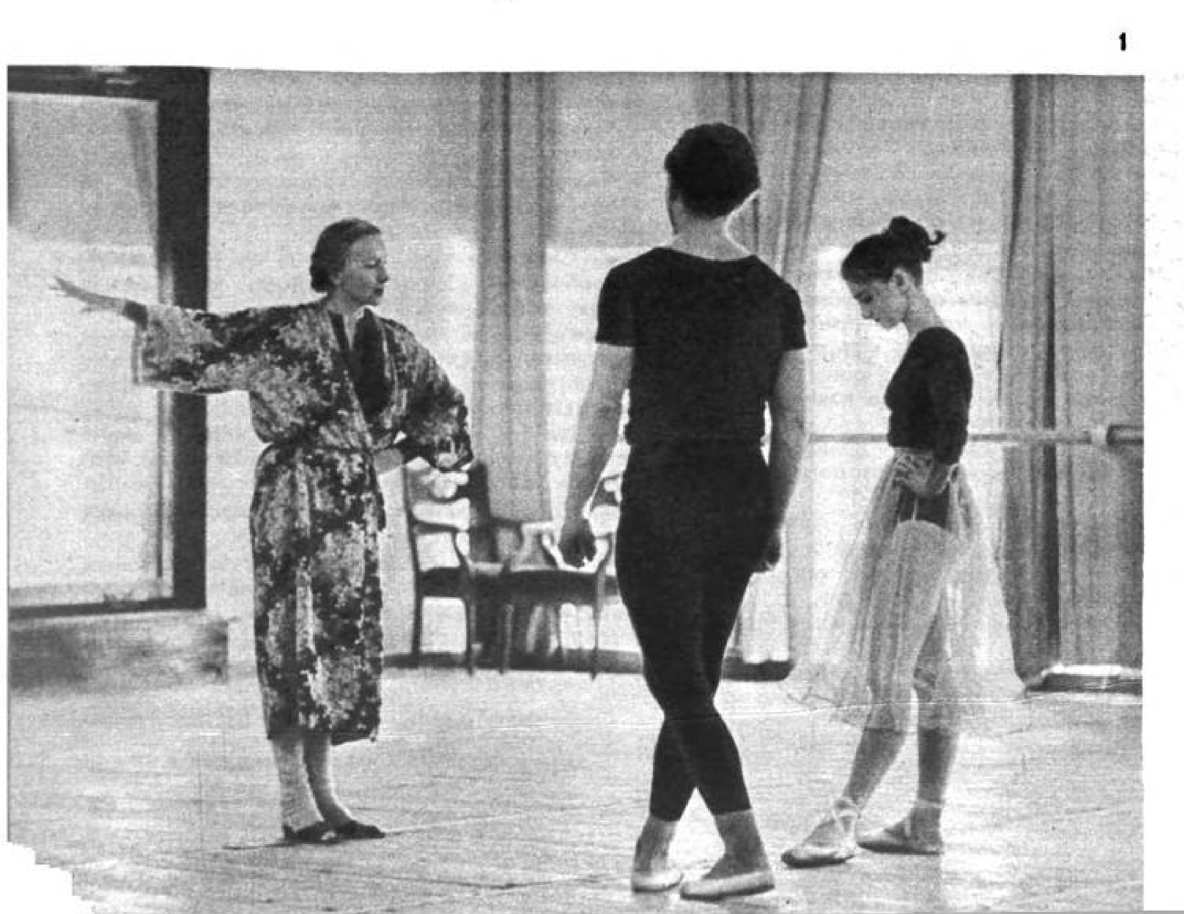
— Что верно, то верно,— высказался Бойко, когда Василий Антонович перешел в свою машину.— Дорожки у них — только радуйся.

— Талантливый человек — товарищ Артамонов,— сказал Костин.— Почет у него заслуженный.

Лаврентьев молчал. Молчал и Василий Антонович.

За кулисами Большого

1



2



3



Балет. При этом слове всегда представляется нечто воздушное, изящное, легкое... И не многим известно, каким трудом достигается эта легкость.

Артисты балета Большого театра упорно трудятся — целый день. Каждый день. Всю свою жизнь...



Народная артистка СССР Г. С. Уланова репетирует с Е. Максимовой и Ю. Ждановым.



Репетиция кордебалета.



В короткую минуту передышки.



Завтра на спектакле она будет танцевать еще лучше. Заслуженная артистка РСФСР Е. П. Герт поправляет ученицу.



Занятия в тренировочном классе.
На первом плане — народная артистка Майя Плисецкая.



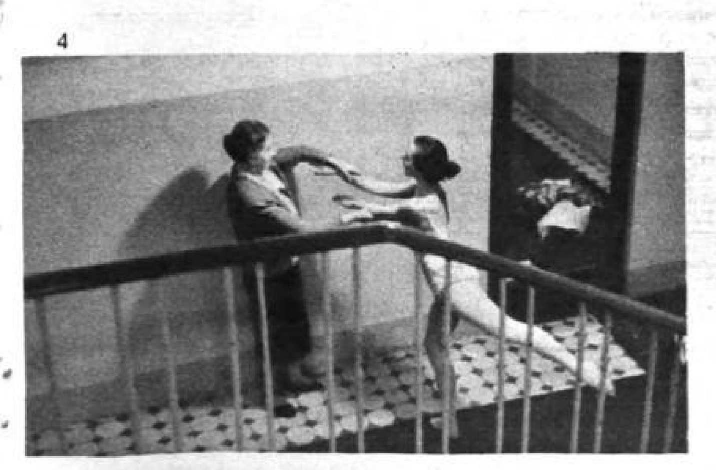
Трудовой день окончен. Теперь можно посмотреть и на других.

Фото Е. УМНОВА.

6

Балета

4



5



Атака на клетку

Б. ГРИГОРЬЕВ

В Ленинграде, на проспекте Маклина, стоит темно-серое от времени шестиэтажное здание.

Меня всегда поражает контраст между обычностью фасада этого старого петербургского дома и необычностью того, что происходит внутри. Если бы мне разрешили, я обязательно перекрасил бы его фасад в лазурно-голубую краску, в цвет весеннего неба и морской волны, в цвет неуемной романтики и дерзновенной мечты. Я бы сделал это потому, что дух романтики, дух научных открытий живет в коллективе ученых, работающих тут. Я бы сделал это и потому, что большинство ученых молоды, как молод сам Институт цитологии Академии наук СССР, разместившийся в этом здании.

Что такое цитология!

В XVII веке английский ученый Роберт Гук, желая продемонстрировать качества усовершенствованного им микроскопа, положил под его объектив пробку и неожиданно для себя увидел, что вся она состоит из мельчайших пор, похожих на ряды ящиков или ячеек. Он назвал эти поры клетками. То, что видел Роберт Гук, было на самом деле лишь кладбищем клеток: поры, представившиеся ему, были целлюлозными стенками мертвых клеток.

С тех пор прошло три с половиной века... Тысячи и тысячи исследователей в течение трех столетий до боли в глазах приникали к микроскопам. Зоркий глаз микроскопа увидел, что внутри клеточной оболочки есть содержимое. Сперва цитологи обнаружили там ядро. Вся остальная часть получила название ц и т о п л а з м ы. Позже в цитоплазме были найдены различные «органы» клетки. Ученые назвали их о р г а н о и д а м и. Одни органоиды служили в клетках как бы «энергетической станцией». В них под действием тысяч ферментов соединялись с кислородом и «сгорали» белки, жиры и углеводы, поступавшие в клетку. Другие органоиды выводили «отходы производства» из клеток. Третьи работали, как сложнейший комбинат, где сотни «машин», повинуясь какой-то неизвестной программе, производили различные белки. Четвертые принимали участие в загадочном и сложном процессе деления клеток.

Но главное заключалось в том, что маленькая клетка была частицей жизни: она реагировала на свет и тьму, на тепло и холод, на электрические импульсы и ультразвук. Она с потрясающей и непонятной простотой синтезировала сложнейшие вещества, которые не под силу было произвести человеку в его все более совершенных лабораториях.

Тут было над чем задуматься, и исследователи всех стран мира еще ниже склонялись над микроскопом...

«Сто тысяч почему»

Карта того мира, который назван клеткой, почти немая: на ней обрисованы контуры, но нет надписей. Слишком много неизвестного таит в себе маленький сгусток жизни.

Школьником я первый раз прочел книгу советского писателя М. Ильина «Сто тысяч почему». Ильин смотрел на мир удивленными глазами. Вещи казались ему простыми в своей сложности и сложными в простоте. К самым обычным явлениям обращал он свой вопрос «почему» и получал интересные и неожиданные ответы.

К сожалению, написать такую книгу о клетке еще нельзя. «Сто тысяч почему» уже обращены к ней, но ответов на вопросы пока нет.

Правда, стремительный темп развития науки с каждым годом приближает время создания новой книги «Сто тысяч почему», посвященной клетке. А когда будут даны ответы на все «сто тысяч почему», мы сможем сказать, что пришел БИОВЕК, век торжества биологии, раскрытия тайн клетки, а следовательно, и тайн жизни.

Давайте пофантазируем немного... Предположим, что наступил уже биовек и тайны клетки стали подвластны человеку. Это привело к таким грандиозным переворотам во всех областях науки и техники, что на современном уровне знаний их даже трудно оценить.

Не случайно решения XXI съезда КПСС указывают, что «необходимой теоретической предпосылкой для подъема медицинской науки, а также для сельскохозяйственных наук является развитие биологии».

Как отрывки из фантастического романа звучат сейчас выдержки из статьи лауреата Нобелевской премии академика Н. Н. Семенова «Человек и природа»: «Поняв в деталях механизм действия ферментов, мы, вероятно, сможем создать по тому же принципу катализаторы искусственно и тем самым вызвать переворот в химической промышленности...

Подробно выяснив принцип действия мышц, со временем, вероятно, удастся создать из специально синтезированных полимеров (более простых, чем белки) принципиально новый тип мощных машин, я бы сказал, молекулярных машин, действующих по принципу мышц, с тем же высоким коэффициентом полезного действия и способных осуществлять гораздо более тонкие движения, чем современные машины.

Подобным же образом, изучая принципы передачи электрических сигналов по нервам, изучая природу памяти в мозговых клетках, быть может, удастся создать существенно новые, очень малогабаритные счетно-решающие устройства...»

...Самая смелая фантазия может быть превзойдена, если удастся покорить клетку!

Единый фронт наступления

К победе и торжеству биовека можно прийти только через упорные бои за овладение биологическими знаниями, через непрерывные атаки на клетку с использованием всего арсенала современного научного оружия.

С каждым годом нарастает темп этих атак, все новые и новые лаборатории и институты включаются в единый фронт наступления. Четыре года назад создан институт, о котором я рассказываю, — Институт цитологии АН СССР.

Над столом директора института члена-корреспондента АН СССР А. С. Трошина висит фотопортрет человека, склонившегося над рукописью. Большой лоб мыслителя, чуть прищуренные сосредоточенные глаза... Это основатель института Дмитрий Николаевич Насонов.

Он умел смотреть сквозь туманную даль времени, этот талантливый экспериментатор и вдумчивый педагог. В его жизни, богатой большими творческими удачами, есть страница, которая особенно волнует: в тяжелые июльские дни, когда немецкий сапог топтал нашу землю, Д. Н. Насонов, создатель нового направления в цитологии, один из крупнейших советских биологов, лауреат Сталинской премии, добровольцем ушел на фронт защищать свой Ленинград... Таким он был всю жизнь — ученым и борцом. Таким он остался в памяти тех, кто его знал, остался в делах института, который он создал.

Д. Н. Насонову принадлежит идея «синтетической» цитологии, комплексного изучения клетки. Мир клетки казался исследователям настолько сложным, что цитология распалась на ряд самостоятельных, изолированных разделов. Каждый из этих разделов изучал лишь узенький участок жизни клетки, строение, или химию, или ее функции. Но клетка — это единое целое. Чтобы изучить ее, необходима теснейшая связь между всеми разделами цитологии. При этом изучение клетки немыслимо без самой тесной связи с химией и физикой.

Организация и работа Института цитологии являются воплощением этой идеи Д. Н. Насонова. В десяти лабораториях института с разных сторон изучается клетка. Атаку на клетку ведут физиологи и биохимики, морфологи, генетики и биофизики, оптики и физико-химики, физики и радиоинженеры. Клетку погружают в холод и нагревают. На шестом этаже здания института ее облучают ультрафиолетом, а внизу, в подвале, за толстыми бетонными стенами на клетку обрушивается мощный поток рентгеновского излучения. Клетку раздражают электрическими импульсами, закручивают в скоростных центрифугах, отравляют ядами и разрезают на части. А у всех приборов и аппаратов, у десятков микроскопов сидят люди, которые смотрят на ленты самописцев, на шкалы измерительных приборов, на экраны осциллографов, в окуляры микроскопов. Им, сотрудникам Института цитологии, предстоит получить от клетки ответ на «сто тысяч почему».

Клетка ложится на операцию

Для того чтобы ответить на эти «сто тысяч почему», созданы сотни приемов и методов. Некоторые из них поражают своей тонкостью и филигранностью. Ведь опыт ставится на клетке, обладающей микроскопическими размерами!

А. Л. Юдин — молодой научный сотрудник института. Он занят пересадкой ядер у амеб. Это интересно для многих разделов цитологии, когда необходимо определить относительную роль ядра и цитоплазмы в жизни клетки.

Перед молодым исследователем стоит микроскоп, снабженный множеством винтов и ручек и заметно отличающийся от своего обычного лабораторного собрата. Под микроскоп помещают двух амеб. А. Л. Юдин должен «прооперировать» их: извлечь из одной ядро и пересадить в другую.

Амебу можно увидеть невооруженным глазом в виде небольшой серовато-белой точки. По размеру она будет раза в четыре меньше той точки, которая как знак пунктуации стоит в конце этого предложения. Теперь попытайтесь представить себе операцию по пе-

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕВИДИМЫЙ МИР

То сравнительно немногое, что известно нам сегодня о строении клетки, является еще одним свидетельством беспредельных возможностей человеческого ума, создавшего удивительную науку — цитологию.

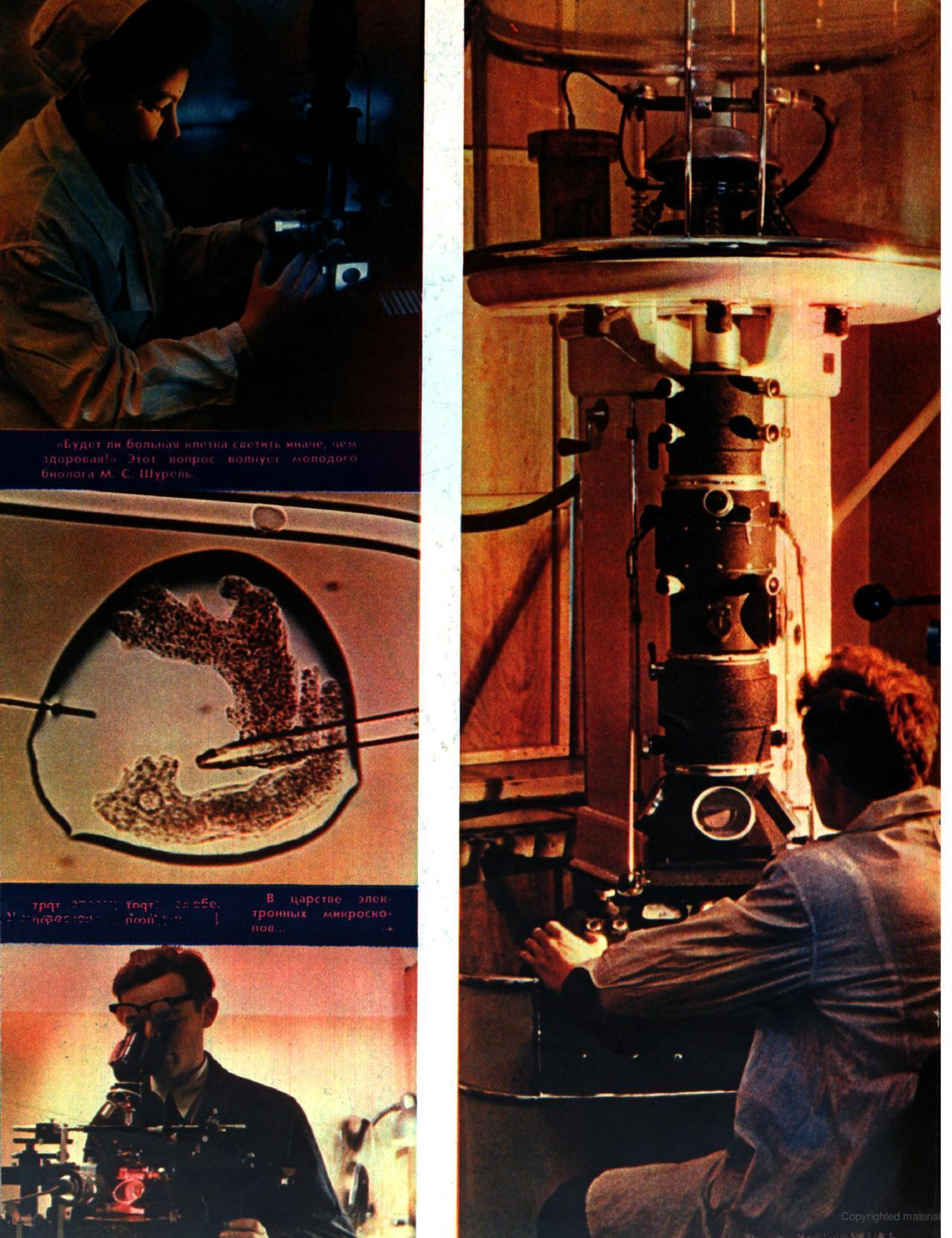
Маленькая клетка заставляет задуматься многих биологов. Молодой исследователь, ученый секретарь института С. А. Кроленко. ↑

Фото С. ФРИДЛЯНДА.

Это можно увидеть только под микроскопом. ↓



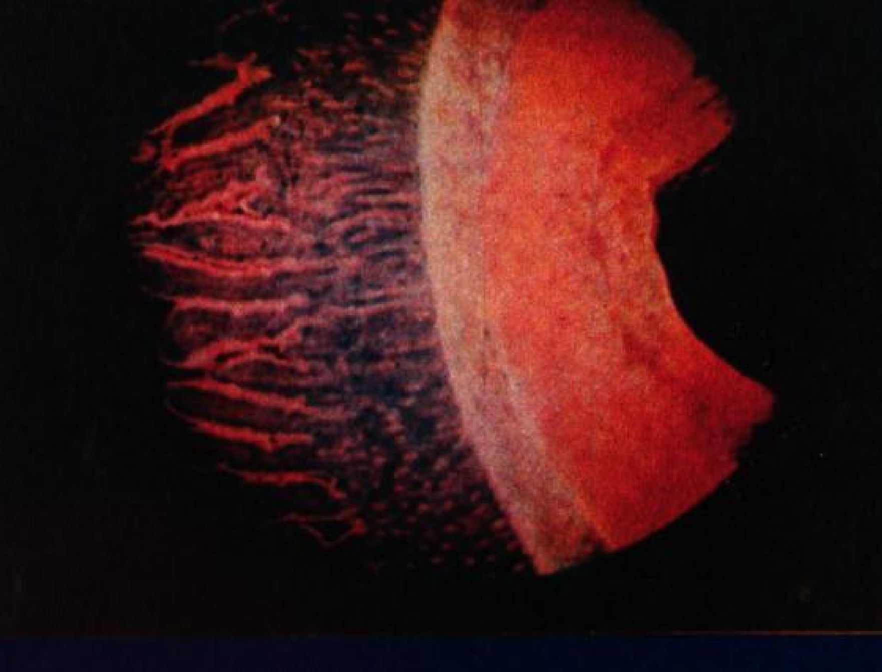




«Будет ли больная клетка светить иначе, чем здоровая?» Этот вопрос волнует молодого биолога М. С. Шурель.

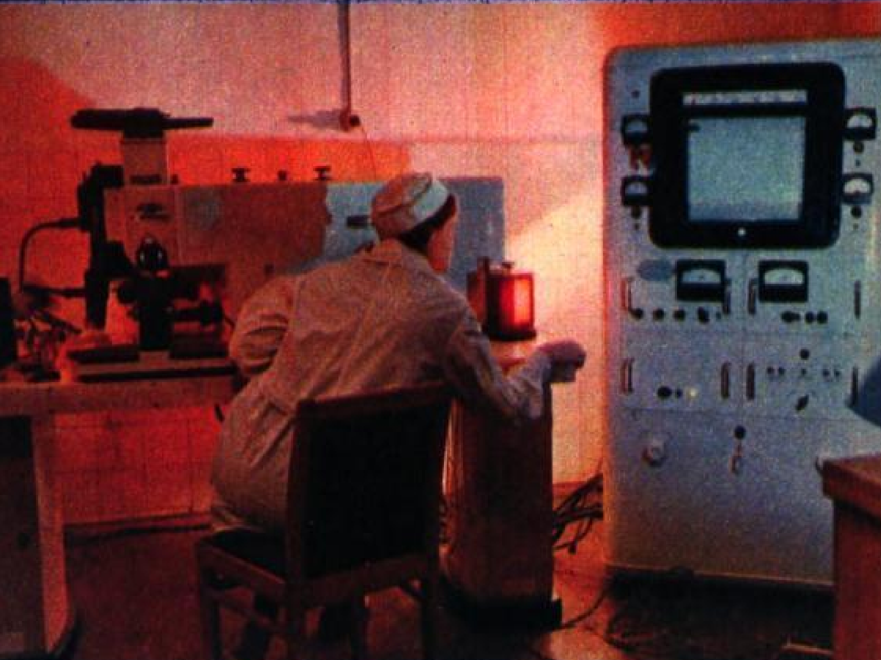
[illegible] ↓

В царстве электронных микроскопов... →



Биологи научились преобразовывать невидимое свечение клеток и тканей в видимое с помощью специального метода цветовой трансформации.

Тогда разными цветами засияют различные



ткани. Клетка сигнализирует. Она словно рассказывает «цветным языком» о своем самочувствии. Но понимать этот «язык» клетки пока очень трудно...

Однако уже сейчас ученые добились первых успехов. Так содружество физиков и биологов помогает раскрыть еще один из секретов клетки...

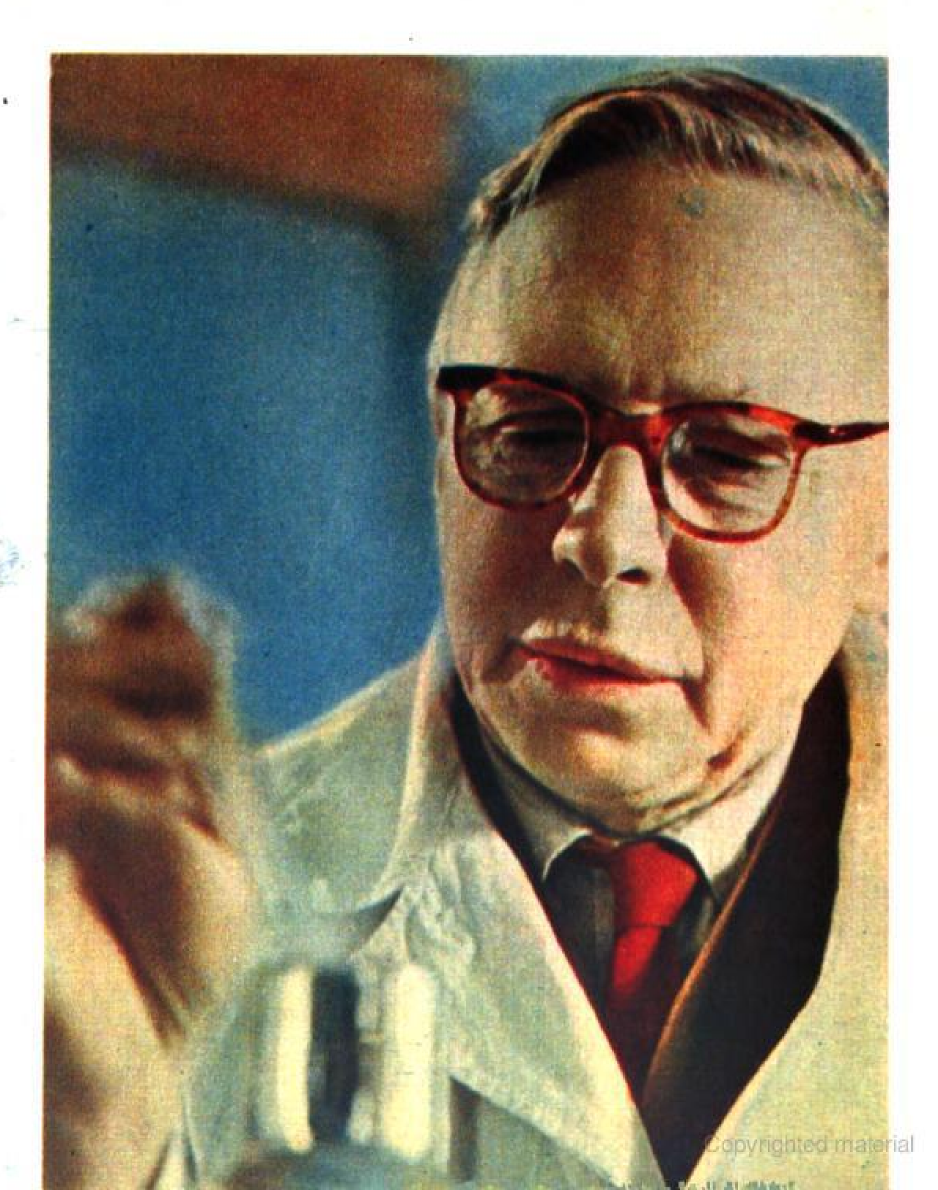




↑ К тайне клетки биологу Светлане Цифринович приходится добираться через паутину проводов.

• Еще минута, и эти гусеницы попадут в такой же холод, какой царит на Юпитере.

↓ А может ли живая клетка вынести холод Юпитера? Этот вопрос Л. К. Лозина-Лозинский решает в кабинете своей лаборатории.



ресадке ядра, которое раз в сто меньше нашей точки.

Для того, чтобы провести такую операцию, к микроскопу пристраивается микроманипулятор, ручки которого связаны со специальными инструментами — крючком и микроиглой. С помощью микроманипулятора А. Л. Юдин загоняет амеб в крючок. Затем в амебу вводится стеклянная микроигла, которой осторожно переталкивают ядро в другую амебу.

Это можно сравнить с проталкиванием вишневой косточки в густом киселе, но учтите, что размер ядра — «косточки» — составляет примерно сорок пять миллионных долей сантиметра, а игла еще в двадцать раз меньше. При этом операцию надо вести на высоком «медицинском» уровне: не повредить ядро и не повредить клетку, в которую переселили это ядро.

Для того, чтобы научиться делать эту операцию, А. Л. Юдину понадобился год тяжелой и кропотливой работы. Пришлось делать самому микроинструменты из стекла, тренироваться в безошибочном попадании иглы в клетку и ядро. Впрочем, теперь все это позади, методика освоена, исследования начались...

«Живой светофор»

Еще в начале нашего столетия ученые заметили, что если на клетку падает свет ртутной лампы, то клетка сама начинает светиться слабым, чуть заметным фиолетовым светом. Явление, когда под действием возбуждающего света начинает светиться какое-нибудь вещество, известно очень давно. Физики дали ему название — люминесценция.

Бледно-фиолетовое свечение клетки тоже получило название люминесценции клетки. Так как свечение это было очень слабым, почти не менялось от живой к мертвой клетке, то ученые не воспользовались этим явлением для того, чтобы заглянуть в клетку. Так было до 1956 года, пока ленинградский физик-оптик Е. М. Брумберг не высказал интересное предположение: слабое фиолетовое свечение клетки есть лишь часть значительно более сильного, которое лежит в невидимой для глаза человека ультрафиолетовой области. Эта область может быть «увидена» фотопластинкой.

Для того, чтобы проверить свое предположение, он сконструировал и построил специальный микроскоп.

К этому времени биологам стало уже известно, что многие химические вещества, входящие в состав клетки, обладают способностью светиться под действием возбуждающего света. Открытие Е. М. Брумберга позволило бы наблюдать за судьбой этих веществ непосредственно в самой клетке. Но какие из них больше всего светят в клетке?

Вместе с группой биологов доктор технических наук Е. М. Брумберг начал серию исследований в лаборатории микроскопии Института цитологии. И тут исследователи обнаружили еще один значительный факт: оказалось, что яркость свечения зависит от состояния клетки. Клетка словно сигнализирует своим «светофором» о самочувствии. Принимать эти сигналы уже научились, но читать язык клетки пока очень трудно. Он, пожалуй, гораздо сложнее, чем язык племени майя, который помогла недавно «прочесть» электронная машина. Сегодня нам известно только несколько знаков загадочного «светофора» клетки. Однако уже сейчас ученые добились первых успехов: они установили, что клетки крови при некоторых злокачественных заболеваниях у человека светят иначе, чем здоровые. По-особому сигнализируют о себе клетки крови у облученного животного.

...Так «синтетическая» цитология, опираясь на содружество физиков с биологами, идет к познанию еще одного секрета клетки.

Путешествие в царство холода

Можете ли вы представить температуру в минус 30 градусов? Наверное, можете, если вы только не живете все время на юге нашей страны. А попробуйте вообразить холод в 183 градуса! Эту температуру трудно ощутить как нечто реальное, она воспринимается как некая абстрактная цифра, к которой неприложимы наши житейские ощущения.

У вас может возникнуть естественный вопрос: а почему автор так настаивает на том, чтобы представить себе реально такую температуру? Ведь давно известно, что при такой низкой температуре ничто живое существовать не может... Нет, может, в том-то и дело, что может! Так считает Лев Константинович Лозина-Лозинский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией клеточных адаптаций Института цитологии.

Адаптация — это способность клетки или вообще живых организмов приспосабливать свою жизнедеятельность к изменяющимся условиям. В опытах Льва Константиновича клетки гусениц кукурузного мотылька приспосабливаются к многодневному пребыванию в жидком кислороде при температуре 183 градуса ниже нуля.

Внешне этот удивительный опыт выглядит очень просто. Небольшую белесоватую гусеницу осторожно берут пинцетом, помещают в пробирку, и... путешествие в царство холода началось. Пробирка погружается в сосуд Дьюара с жидким кислородом. Кипит бледно-голубая жидкость, но вот кипение кислорода прекращается, температуры сравнялись. В пробирке минус 183 градуса!

Пока гусеница лежит на дне пробирки, попытаемся хотя бы через какие-нибудь известные нам факты представить себе действие этой температуры на живое.

Я видел, как недавно режиссер Московской киностудии научно-популярных фильмов Б. Н. Ляховский снимал для киножурнала это открытие ученого. В конференцзале института был воссоздан угол лаборатории — в настоящую лабораторию нельзя было вносить мощную осветительную технику кино. Объектив киноаппарата запечатлел, как действует на живую ткань холод жидкого кислорода. В колбу с жидким кислородом на несколько минут опускали цветок, потом его вынимали и ударяли по нему молотком — с хрустальным звоном цветок раскалывался на мельчайшие кусочки, словно хрупкая елочная игрушка. Потом туда же опускали живую лягушку. Проходило несколько минут, лягушку вынимали и бросали на пол — она трескалась, как кусок толстого стекла.



Старейший цитолог нашей страны профессор И. И. Соколов.

Эти демонстрационные опыты можно было бы продолжить еще на многих живых объектах, результат будет одинаков: живая ткань фактически превращается в кусок льда. Содержание воды в клетке обычно составляет 70—80 процентов, и вся эта вода превращается в кристаллы льда, которые разрывают клетку, ломают все клеточные структуры. Это кажется незыблемым. Но вернемся к гусенице. Если вытащить сейчас ее из жидкого кислорода, она лежит твердая, застывшая, напоминающая заснеженную сосульку. Можно легко переломить ее и увидеть при этом, что внутри хитинового покрова гусеницы все набито белыми кристалликами льда. Можно взять ступку, пестик и истолочь гусеницу в порошок, как толкут сахар или крупную соль. Жизнь прекратилась.

Но что, если дать гусенице время оттаять? Произойдет чудо: она постепенно оживает.

Таким образом, Лев Константинович убедительно доказал, что полная кристаллизация воды в клетке сложного организма в условиях глубокого охлаждения не убивает клетку, если она предварительно закалена. Дело в том, что в пробирке находилась не обычная гусеница, а адаптированная, прошедшая предварительную закалку...

Эта работа интересна для теоретической биологии и медицины, для сельскохозяйственной практики и философских проблем естествознания. Но есть еще одна сторона у этого исследования, которая сегодня, когда автоматическая межпланетная станция летит к Венере, когда весь мир потрясен героическим полетом Юрия Гагарина, особенно привлекает наше внимание.

Лабораторию Л. К. Лозина-Лозинского в институте в шутку называют «космической». Нет, это не только потому, что она находится на самом верхнем этаже института, так сказать, «по соседству» с космосом, и даже не потому, что из окон ее виден купол учебной обсерватории. В этом названии есть глубокий смысл: то, что изучает лаборатория, имеет прямую связь с вопросом, который давно занимает умы человечества: есть ли жизнь на других планетах?

Нашей Земле повезло: она получает от Солнца не очень много и не очень мало тепла: ровно столько, сколько нужно для возникновения и существования жизни. На планетах, более далеких от Солнца, чем Земля, условия куда более суровые. Свирепый холод царит на Юпитере: 138 градусов ниже нуля, и даже на Марсе, где писатели-фантасты поселили разумных обитателей, ночная температура в самых жарких местах не поднимается выше минус сорока градусов, хотя днем она доходит до 25 градусов тепла.

Но приспосабливаемость живой клетки оказалась гораздо выше наших представлений о ней. И, кто знает, может быть, есть на Марсе, даже в холодных его местах, неведомые обитатели, активно живущие днем и впадающие в глубокую «спячку», когда приходит злой ночной холод.

Клетка из космоса еще ляжет под микроскоп исследователя!

* * *

Время близится к полуночи, но в нескольких окнах института еще горит свет. Там продолжается волшебное путешествие в удивительный мир клетки.

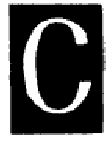
Я смотрю на эти окна, на небо с далекими звездами и думаю о том, что изучение клетки и исследование космоса имеют между собой много общего. В центре этих исследований стоит Человек. С помощью телескопа, с помощью ракет и спутников всматривается он в окружающую его вселенную, и новые миры открываются перед ним. Потом Человек с той же настойчивостью вглядывается через микроскоп в клетку и видит другой необычный мир. И в изучении космоса и в исследовании клеток есть сказочная романтика открытия неизведанных миров, неизученных законов.

О Т Р Е Ч Е

И. ИРОШНИКОВА

«Я пишу, чтобы рассказать о драме духа и сердца самого обычного человека...»

Алигеро Тонди «История кризиса совести»

чего мне начать рассказ о Звейсалниексе? С первой встречи? С первого впечатления? Вот не знаю, удастся ли мне его передать.

Я ожидала Звейсалниекса в одной из комнат Рижского исторического музея, на улице Палласта — Дворцовой улице.

В оконном проеме дождливое небо висело над остроконечными крышами. Между придвинутыми друг к другу домами вилась, как ущелье, улочка старой Риги. Медленно, нехотя, лениво капал на тротуар дождь.

Кое-что я знала о Звейсалниексе. Научный сотрудник Рижского исторического музея. Ксендз-отступник. В прошлом настоятель Салдусского и многих иных приходов. Миссионер. Монах конгрегации мариан.

От непривычных слов этих веяло средневековьем. Как символ католической церкви в памяти возникало навсегда запомнившееся лицо: из-под сдвинутых, тяжелых надбровий мрачный, все подозревающий взгляд: мантия цвета застывшей крови, красноватый отблеск ее на пергаментно-желтой коже щек, на серой, как пепел, бороде, на жестко сжатых губах... Кардинал-инквизитор с портрета Эль Греко.

Я не слышала, как подошел Звейсалниекс. И глядела на него, не веря себе: так разительно не соответствовал он духовным своим чинам и званиям!

Он был молод, гораздо моложе, чем я могла ожидать. Высок, плечист, стремительно легок в движениях. Гордый поворот головы, мужественное лицо.

Во взгляде — нет, верней, во всем его облике — ощущение открытости. И настороженности. Ощущение порыва и сдержанной силы. Миссионер? Настоятель? Монах конгрегации мариан?

Что угодно — только не это!

«Тебя, верующий, видит...»

Звейсалниекс сказал мне, что, отрекшись от духовного сана, поначалу хотел остаться в своем же районе. Поступить на работу, скажем, на цементный завод. Добывать себе наново профессию. Это не получилось. Он был видный служитель римско-католической церкви в Латвии, и весть о его отречении взбудоражила, затронула многих.

В ЦК Компартии Латвии стали поступать многочисленные запросы: «Пришлите нам Звейсалниекса!» Требовали из Талсы, Салдуса, Тукума. Из Лиепаи, Елгавы, других городов и селений... «...Не верим! Католический ксендз не может быть против бога, — писали люди. — Пусть покажется. Пусть отречется перед всеми».

И вот за два года, прошедших со времени его отречения, — сотни встреч. И каждая встреча — исповедь. Рассказ о самом себе. И о церкви.

И вот в заставленной шкафами, столами, полками, заваленной книгами и папками комнате, где пока помещается вновь организуемый музейный отдел истории религии и атеизма, на письменном столе научного сотрудника Звейсалниекса — ворох писем.

Бушманис, начальник отдела и друг Звейсалниекса, вместе с нами просматривая их, переводит мне кое-что на русский язык.

«Как могло получиться, что ты, принадлежа к святому сословию, к особым людям Бога, специально избранный, чтобы распространять его свет, ты, который всех призывал, отрекся?

Неужели конец Иуды показался тебе желанней, чем крест Иисуса Христа?»

«...Что такое случилось в Вашей милой, посвятившейся Богу жизни? Где, когда и какая обида вооружила Вас против Бога?

Если Вы по какой-либо только Вам известной причине не хотели быть ксендзом, могли отойти тихо...» (Слово «тихо» отчеркнуто Звейсалниексом. Рядом гневный восклицательный знак.)

«...Сердечно поздравляем от имени всех нормально живущих людей с возвращением к жизни...»

— А бандитские письма, те, в которых тебе грозили, где они? — перебирая конверты, спрашивает Бушманис и приводит на память строки: — «...Завтра или в следующем году мы все равно достанем тебя...» Почему ты их не показываешь? А случай в Смилтене, в столовой... А анафема римского папы — ты говорил об этом? Передавали по радиостанции «Голос Ватикана»: «Отлучаем от церкви и анафемствуем того злодея, который именуется... Изгоняем его от дверей святой божьей церкви... Да будет он проклят всюду, где бы ни находился... Да будет проклят он в жизни и в час смерти...»

Звейсалниекс вертит в руке карандаш; не отрывая глаз от карандаша, молчит, упрямо опустив голову, и я вдруг замечаю: в темных кудрявящихся его волосах — густая проседь.

— Очень памятный день для меня... — чуть прищурясь, говорит Звейсалниекс, — первое апреля шестидесятого года. Почему? — Он медлит и, словно не найдя подходящих слов, замечает коротко: — В этот день я пришел на работу. Первый раз в своей жизни. И сел вот за этот стол.

И, довольный собой, смеется. Он вообще хорошо смеется, искренне, от души. И при этом лицо его кажется по-мальчишечьи простодушным — даже ямочки появляются на щеках.

А вот в профиль он старше, строже. Что-то есть напряженное в его профиле.

Со Звейсалниексом трудно. О работе своей рассказывает охотно, о себе говорить не хочет. Хмурится.

— Главное вы уже знаете. — «Главным» он считает сам факт своего отречения. — Остальное попробуйте сами представить себе.

Попробуйте!

В середине двадцатого века на советской земле, на земле Латвийской Советской Республики, юноша в расцвете здоровья, сил, одаренный, красивый юноша, ни о чем не жалея, добровольно отказывается от всего, что ему обещает жизнь. От ее возможностей и свершений. И по собственной воле запирает себя в монастырь.

Можно это представить себе?

Прежде надо понять.

А Звейсалниекс упрямо молчит или переводит разговор на другое. И лишь вскользь в разговоре обронит что-нибудь...

Вот и норовишь зацепиться за эти скупые «что-нибудь» и, держась за них, как за вехи, представить его судьбу.

...Пятеро старшеклассников из Вараклянской средней школы, где в девятом классе учился и Болеслав Звейсалниекс, бросили школу: четверо из них поступили в духовную семинарию. Почему? Я не знаю.

Знаю только, что после образования Латвийской Советской Республики, еще в 1940 году школа была отделена от церкви, а церковь — от государства. Знаю, что религия — некогда основной в начальных классах предмет — была исключена из школьных программ. Отменены были утренние молитвы, обязательные посещения церквей учащимися. Знаю также, что церковь, стремясь сохранить веру — бездумную, прочно вошедшую в быт, переходящую от отцов к детям веру, — боролась за юные души. И кое-где одерживала победы.

Пятеро старшеклассников из Вараклянской школы 1 сентября 1947 года не приступили к занятиям. Четверо из них ушли в духовную семинарию. Пятый поступил в монастырь. Пятый был Болеслав Звейсалниекс.

Я спросила у Звейсалниекса: если уж так случилось, что из всех возможных в жизни дорог он выбрал именно эту, то почему — в монастырь? Почему он не стал добиваться сана священника, как те четверо?

— Думал, грешен, — не сразу, подбирая слова, говорит Звейсалниекс. — Думал, ксендз — сама чистота и святость. В себе не чувствовал этого...

Говорит без иронии. Без желания высмеять прошлое. Не пытаясь его зачеркнуть, отказаться начисто от всего.

Родом он из латгальской деревни Звейсала. А Латгалия [1] — край католичества.

— Если родители веруют, — говорит Звейсалниекс, — первое слово на устах у ребенка — бог.

Мать Болеслава веровала.

— Все от бога, — так говорила она и каждое утро и каждый вечер молила всевышнего о милосердии.

«...Бог есть дух вездесущий, всевидящий, милостивый и гневный», — учил Звейсалниекс в начальной школе на уроках закона божьего.

«Судьба людская — песчинка, на все — веление богово», — провозглашал с амвона в костеле ксендз, которому в воскресенье — а случалось, и в будни — прислуживал маленький Болеслав. Постоянный страх перед богом терзал его душу.

Звейсалниекс почти не рассказывал мне ни о детстве своем, ни о юности. Только вспомнил однажды смерть сестры. Говорил и об этом коротко, скупо, но чувствовалось: для него это было не просто утратой, с нею что-то сместилось и в его жизни.

...Девушка, почти девочка, немногим старше самого Болеслава. Жизнерадостная, цветущая... В военные годы, когда гитлеровцы хозяйничали в Латгалии, батрачила. Пасла кулацкое стадо. Гоняла коров по лужайкам и перелескам. Продиралась через кустарник, попадала в болото. Мокла под дождем, замерзала под ветром.

Простудилась. С кем не бывает! Но чтобы так вот, сразу... Синие, без кровинки губы... Но чтобы так вот, сразу отлетела душа?! И не гнущееся, застывшее, словно чужое тело, как ненужная оболочка, лежит теперь на столе.

— Я впервые подумал тогда, — говорит Звейсалниекс, — и после думал об этом: жизнь земная одна! Слишком хрупкая, слишком непрочная... оборвется, и нет за ней ничего. А вот жизнь небесная — та во веки веков, если жить и восхвалять бога...

И не очень уверенный, что ему удалось разъяснить, добавляет:

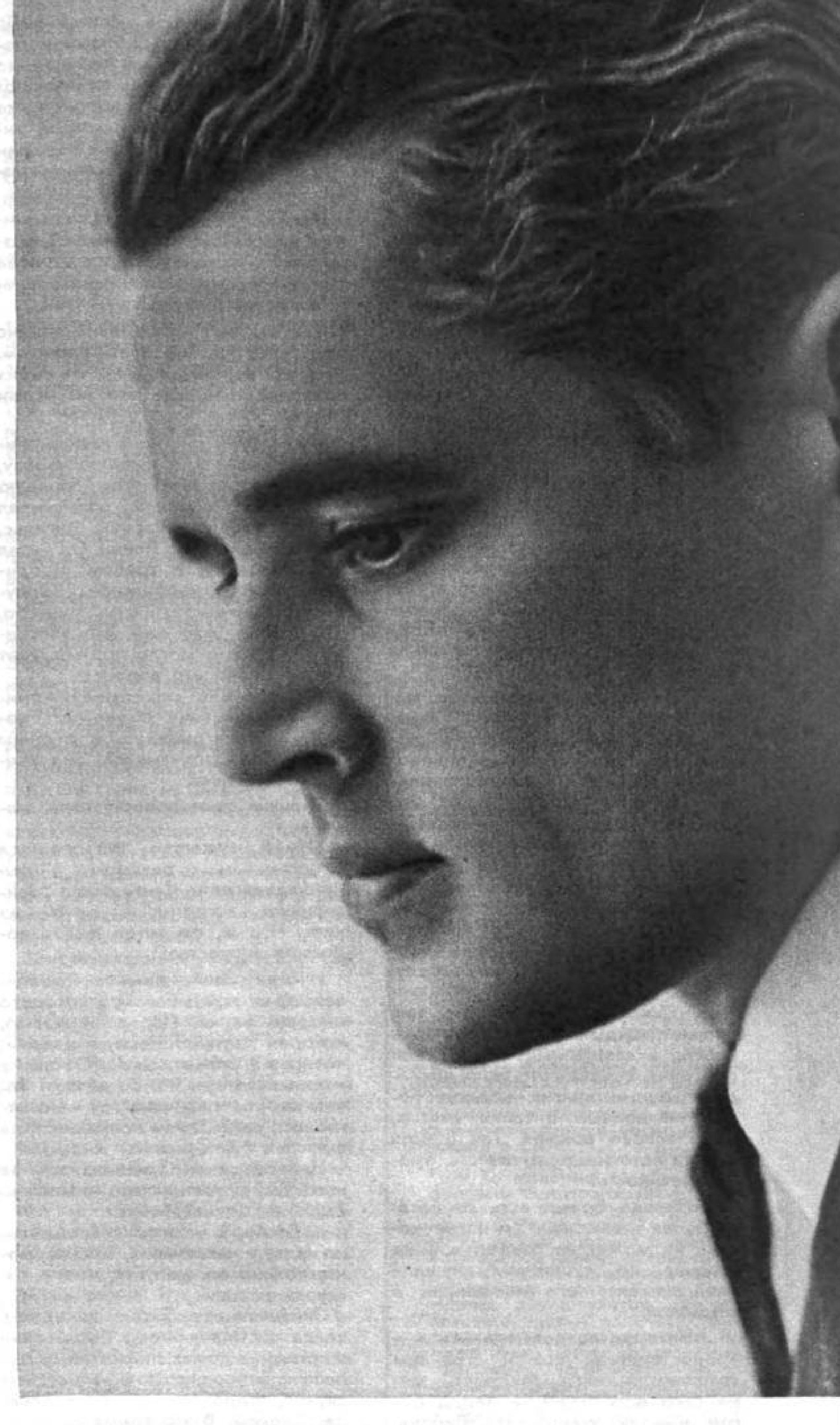
— Иисус Христос говорил, что он «само воскресение», что «верующий в него никогда не умрет»... И я решил выключить себя из этого света...

Сильным взмахом руки он как будто подчеркивает сказанное.

Может, слишком рано довелось ему столкнуться со смертью? Слишком много смертей повидать? Жизнь людская недорого стоила в военные годы. Да и в послевоенные... Действовала у них в Латгалии, например, банда ксендза Юхневича. «Лесные братья» — они скрывались в латгальских лесах, расправлялись жестоко с теми, кто стоял за новую жизнь. Убива-

[1] Восточная часть Латвии.

Н И Е



Болеслав Звейсалниекс.

Фото И. Тункеля.

ли партийных работников и беспартийных крестьян. Не щадили детей, подростков. Появлялись в школах, стреляли в учителей... Позже, обдумывая этот наш разговор, я припомнила, что читала когда-то у Фейербаха:

«...Если бы не было смерти — не было бы и религии... Могила человека есть место рожденья богов...»

Ничего я не знаю о том, как жил Звейсалниекс в монастыре. Знаю только, что Вилянский монастырь был общиной монахов-мариан, так назвавших себя по имени девы Марии, которую они прославляли.

Знаю, что, пройдя по уставу монастыря срок проверки — подготовки к монашеской жизни — и возложив на себя три священных обета: нищенства, послушания, чистоты, — Звейсалниекс стал отцом конгрегации монахов-мариан.

О жизни своей в монастыре рассказывать он не захотел. Я не стала допытываться, спросила только: не обманулся ли? Нашел ли то, что искал?

И, заметив, как потемнело его лицо, подумала, что он не ответит мне на это. Но он ответил. Признался хмуро и словно бы даже виновато:

— Жили не по обету. Святости не было.

Я неловко спросила: «Как же вы?..», — думая о его убежденности, с какой вошел он под монастырские своды. Звейсалниекс понял.

— Да, я очень... — Он поискал подходящее слово. — Очень раздумывал тогда, почему святые отцы живут не как учат. Почему не боятся бога? Может, дьявол их искушает? Слабые? Поддаются греху?.. Потом решил: они как могут. Только я не поддамся, нет! — И, словно ощутив себя в прошлом, вскинул упрямо голову.

Как сложилась бы судьба Звейсалниекса, если б его не приметил в монастыре ныне покойный епископ Строд?..

Впрочем, думаю, что епископ не мог не заметить Звейсалниекса, пройти мимо искренней и наивной веры его.

Церкви нужна была добрая смена. Звейсалниекс был драгоценной находкой для католической церкви. Епископ властью своей перевел Болеслава в духовную семинарию в Ригу — епископ был ректором этой семинарии. И Звейсалниекс не обманул ожиданий: за два с половиной года с отличием окончил он пятилетний курс семинарии.

«Преподобный Господин новопосвященный священник Болеслав Звейсалниекс!

Привет и благословение во Христе.

Настоящим письмом назначаю и утверждаю уважаемого тебя настоятелем...»

Дальше перечислялись вверенные ему приходы.

«Дата: Рига, год 1951 от Рождества Христова. Первое апреля. Подпись: Петрус Строд. Епископ, администратор Лиепайской епархии».

Печать. На печати всевидящее око божье. И предупреждение: «Тебя, верующий, видит...»

Я спросила у Звейсалниекса о первом его богослужении. Он легонько повел плечами.

— Ну, как это... Раньше я только смотрел, как служат другие...— И, поддаваясь — так я почувствовала — когда-то пережитому, сказал отрывисто, коротко: — ...Свечи горят. И запах ладана. Стою на амвоне, лица, лица передо мной. Я себе говорю: ты священник. Должность твоя начинается... — И добавил с прорвавшейся вдруг горячностью: — Людям проповедь говорил, а о себе молился. Бога просил дать мне силу, укрепить веру, избавить меня от сомнений...

Искоса взглянул на меня и оборвал на полуслове.

«Если ты действительно есть...»

...Однажды на куполе костела в Алсунге, у подножия покосившегося креста, появилась человеческая фигура. Снизу она казалась потерявшей вес и объемность.

Останавливались прохожие. Замирали от удивления. Закинув головы, наблюдали за смельчаком. Что он делает? Что ему там понадобилось?

Толпа вокруг костела росла. В окнах домов появлялись лица, слышались восклицания: «Сорвется!», «Ветер снесет», «Рассудка лишился, что ли?», «Рухнет вместе с крестом»... Костел был старый и обветшавший.

А человек упорно работал, казалось, в непосредственной близости от прозрачного, в перистых облаках неба. Снизу было заметно, как крест то кренился из стороны в сторону, то становился ровно, то вновь уходил из-под упрямо настигавших его рук.

Внизу по толпе уже шел шумок: да это же новый ксендз!

Чей-то голос одобрил: смелый поп!

— Верит! — убежденно откликнулась женщина, осеняя себя крестом. — Крепкая вера смелость ему дает.

Ксендз Звейсалниекс пришелся по душе прихожанам. Он ревностно относился к своим обязанностям. Взял приходы в хозяйские крепкие руки. Был к тому же отзывчив, прост. Мог посоветовать. Не спешил никого осудить.

Он венчал, крестил, исповедовал. Провожал в последний путь прихожан. Словами проповеди умел затронуть сердца.

Его не могли упрекнуть в излишней корысти. Темные слухи не вились вокруг его имени. Жил он с братом и матерью. Жизнь его проходила на виду у людей. Добрая слава следовала за ним от прихода к приходу... Был он также на хорошем счету у митрополита. Церковь возлагала надежды на Звейсалниекса.

— Восемь лет я был ксендзом, — рассказывал мне Звейсалниекс. — Первые годы от всей души верующим. Продолжал искать бога.

— А последние?

— А последние...

Он медлит, видимо, стремясь быть предельно точным. Он, я заметила, если уж отвечает, стремится отвечать точно.

— А последние годы боролся... с самим собой.

С чего начинались его сомнения?

— Если божий служитель пьет и гуляет, — словно бы торопясь предварить возможный вопрос, говорит Звейсалниекс, — и живет не как учит, это еще не доказательство, что бога нет. Все гораздо серьезней.

Я заметила: он не раз возвращается к этой мысли, будто внутренне спорит с кем-то.

Его сомнения начались еще в семинарии. И начались они с богословских наук. Странное дело: чем дальше он продвигался в них, тем туманней оказывалось многое — исчезала первоначальная ясность.

То многое, что он изучал в семинарии, вступало в разительное противоречие с тем немногим, что Звейсалниекс успел усвоить за последние годы учения в советской школе.

...«Как произошел человек?», «Земля?», «Вся жизнь на земле?» Так, как учили они на уроках естествознания? Или же так, как об этом сказано в библии?

Разные люди учились в семинарии. Многие — Звейсалниекс знал это — шли туда для того лишь, чтобы посытнее, полегче, побеспеченней организовать свою жизнь. Есть бог или нет — ничего это для них не решало. Сан священника, доходный приход — вот к чему сводились их устремления.

Были фанатики — люди с неустойчивой психикой. Те и вовсе не пытались над чем-либо размышлять. Вера их была исступленной, пугающей.

Попадались такие, как Звейсалниекс, — этих было немного.

С детства, под влиянием среды, родителей уверовав в божественное начало, бездумно приняв на веру все, чему учила религия, они хотели теперь доказательств.

— Я страдал оттого, что слепо верить не мог, — говорит Звейсалниекс.

...Отрешившись от «этого света», оградив себя от него стенами монастыря, семинарии, костела, он тем не менее оставался сыном своего века. Истину хотел постигать разумом. Знанием стремился обосновать то, во что верил.

В семинарии Звейсалниекс выполнял обязанности библиотекаря. В любое время имел поэтому доступ к любой из книг на библиотечной полке или в книгохранилище. Он читал не только то, что было положено по семинарскому курсу. Не просто читал — исследовал, сравнивал и видел: переводы, сделанные с древнееврейского с разных по времени текстов библии—одних и тех же глав, одних и тех же ее страниц, — существенно отличались по смыслу. Законы боговы, факты, происшествия толковались по-разному, так, словно каждый период истории вносил в священные книги свои поправки. Но ведь это были «боговдохновенные книги» — самим богом внушенные писания святых, само «слово божье». Так откуда же эта неточность, путаность, противоречивость?

...«Правда божья есть от бога: глубокая и высокая. Ум человеческий не может ее охватить», — не отвечая по существу, внушали Звейсалниексу его наставники в семинарии.

...«Не ищи, не допытывайся...»— предостерегали его и страницы священных книг. «Мудрость мира сего есть безумие перед богом...» — так утверждала библия.

Звейсалниекс искал доказательств, а наталкивался на заклинания, и священные книги не снимали его сомнений, наоборот, углубляли, усиливали их.

Тогда, одержимый властной потребностью знать, уже будучи ксендзом, Звейсалниекс решил обратиться к другим источникам.

Он, конечно же, знал при этом, что действует и поныне «Индекс запретных книг», впервые составленный церковью еще в XVI веке, пополнявшийся и уточнявшийся неоднократно за прошедшие сотни лет. Что последним изданием этого «Индекса» (в 1900 году) запрещается чтение, скажем, Дарвина и Бальзака, Руссо и Флобера, Вольтера и Александра Дюма, Декарта, Спинозы, Гейне, Золя, Стендаля, других художников и мыслителей, чей творческий ум, чей талант обогатили человечество.

Он, конечно же, знал при этом, что, кроме «Индекса», существуют «Всеобщие декреты», которыми запрещаются книги любого автора, стремящегося каким-либо образом разрушить... основы религии. Книги, которые намеренно нападают на религию... принижают служение богу. Марксистская же литература запрещена особой энцикликой и «Ватиканскими указами против атеистического коммунизма»...

Нет, конечно, он знал, что читать подобные книги грех. Смертный грех, и угроза ада, и угроза тяжкого наказания на земле, если ты священнослужитель.

Как бы ни было, Звейсалниекс обратился именно к этим книгам. Покупал их, бывая вдали от своих приходов, там, где его не могли узнать.

Читал, пристрастно и недоверчиво вдумываясь в каждую фразу, готовый опровергнуть каждую мысль. По ссылкам разыскивал первоисточники: Дарвин, Энгельс, Маркс, Фейербах, Ленин. Он читал их вразбивку, с трудом продираясь сквозь непонятное, пропуская страницы, выбирая лишь то, что важно было ему, что косвенно или прямо могло пролить свет на мучившие его вопросы.

И постепенно его сомнения приходили в систему. Наука исследовала небо, вгрызалась в глубины земли. Она доказывала, она убеждала фактами.

Религия противопоставляла этому веру.

«Имей мужество пользоваться собственным разумом» — эти принадлежащие Канту слова Звейсалниекс встретил в одной из книг. Что ж, он хотел иметь подобное мужество!

Иногда Звейсалниекса охватывал страх перед богом, в которого он еще верил. Перед церковью, которой служил. Перед людьми, которых обманывал. Отчаяние охватывало его. Что он делает? Зачем он рвется к тому, от чего отказался сам? Зачем покушается на смысл и основу своей жизни?

Церковь давно решила все за него. Ему остается одно — молиться. И он молился!

«...Господи, если ты действительно есть, порази меня, накажи меня, только не допусти моего отступничества!..»

Звейсалниекс читал вечерами, когда засыпала мать. Гасли окна в соседних домах, темнота подступала к его окну. Полная неясных звуков, шорохов, ночь завладевала городом. В это время он оставался один на один с собою и с книгами.

«Человек — песчинка», — с детства учила его религия. «На все веление богово...»

...«Человек — созидатель», — утверждали книги. «Человек — хозяин своей судьбы»... Всем человеческим естеством своим Звейсалниекс откликался на это.

Это были часы открытий и борьбы. Он пытался бороться за то, во что еще верил. Он еще боролся, но уже ощущал, как в нем самом «одна армейская часть за другой складывает оружие, одна крепость за другой капитулирует перед натиском науки...» (Ф. Энгельс).

Потом наступал рассвет. Повисал над городом гул гудка. Пестрый, говорливый людской поток, устремляясь к цементному заводу, заполнял улицы. Продавщица открывала ярко-синий ларек. Помахивая потрепанным чемоданчиком, бежала на вызовы медсестра. Садовник поливал серебристой струей из шланга пламенеющие на уличных клумбах канны. Начинался рабочий день.

И ксендз Звейсалниекс отправлялся в костел. Он шагал, опустив голову, избегая встречаться взглядом с прохожими.

Он был такой же... и не такой, как они. Жизнь его была так отлична от их жизни! Жизнь его была лишена того, что составляло содержание их жизни: он не разделял их трудов, не участвовал в их свершениях — он, который предпочел бы давать сам, жил за счет даяний.

Отречение

...Поздний вечер. Спит давно уже мать. Брат еще не вернулся. Дверь не заперта. Звейсалниекс сидит за книгой. Это «Автобиография» Дарвина.

...«Размышляя над тем... что чем больше мы познаем неизменные законы природы, — читает Звейсалниекс, — тем все более невероятными становятся для нас чудеса; ...что невозможно доказать, будто евангелия были составлены в то самое время, когда происходили описываемые в них события; что они по-разному излагают многие важные подробности, слишком важные, как казалось мне, чтобы отнести эти расхождения за счет обычной неточности свидетелей, — в ходе этих и подобных им размышлений... я постепенно перестал верить в христианство как божественное откровение...»

Красным карандашом Звейсалниекс отчеркивает строку за строкой. Это то, что он думает. Да, это он так думает! Сквозь годы, десятки лет тянется незримая нить от писавшего эти строки Дарвина к нему, Звейсалниексу...

Чья-то тень неожиданно падает на раскрытую перед ним страницу. Болеслав поворачивает голову. За его спиной — настоятель марианского монастыря. Того самого монастыря, монахом которого пожизненно является Болеслав. По уставу которого обязан жить, где бы ни находился. Настоятелю которого обязан повиноваться во всем. И беспрекословно.

Настоятель берет со стола раскрытую книгу, придерживая пальцем страницу, глядит на обложку. «Запрещенный «Индексом» Дарвин?!» Скользнув по Звейсалниексу взглядом, он читает отчеркнутые красным карандашом строки.

Сложив на груди ладони, наклонив голову, Болеслав ждет.

По неярко освещенной стене, очертаниями сутаны похожая на темную птицу, мечется тень настоятеля. Настоятель вынимает из шкафа книгу за книгой, раскрывает, рассматривает и швыряет яростно на пол.

Пустеют книжные полки. Распластав разноцветные переплеты, на полу валяются книги, груда книг.

— Сжечь! — указывая на них, говорит наконец настоятель.

И тут Болеслав, который по принятому им на себя обету послушания должен подчиняться беспрекословно старшему, подчиняться, «как труп, который можно поворачивать во всех направлениях... как шар из воска, который можно видоизменять и растягивать», поднимает голову.

— Сжечь! — повторяет свой приказ настоятель. Как зловещая, враждебная Болеславу сила высится он над книгами.

Болеслав поднял голову. Их взгляды встретились. Точнее, скрестились. Точнее, не взгляды — воли...

Я почему-то думаю, что именно в эту минуту произошло отречение. Хотя, если верить датам, отрекся Звейсалниекс много позднее.

Через несколько дней, по жалобе настоятеля, в доме у Звейсалниекса появился епископ Строд. Какой между ними произошел разговор, я не знаю. Знаю только, что, уезжая, епископ письменно разрешил настоятелю Салдусского прихода чтение запрещенных папским «Индексом» книг... чтобы ксендз Звейсалниекс с полным знанием мог ответить на любой вопрос прихожан. Чтобы мог разъяснять их детям то, о чем им толкуют в школе...

Видно, помнил епископ простую истину: гнешь палку — рассчитывай силу...

...«Я пришел к убеждению, что труд мой бесперспективный. Проповедуя учение церкви, я сам его внимательно изучал и пришел к выводу, что все учение церкви является обманом людей».

Звейсалниекс писал и зачеркивал. И снова писал.

Словно бы пригвожденные буквами к бумаге, затаенные мысли его становились вдруг видимыми. Они казались ему гремящими. Рвались за стены его жилища, оглушали его самого. Мужество покидало его, и Звейсалниекс торопливо рвал написанное.

Чего он хочет? Чего ему не хватает?

Другие живут!

Он припоминал своих духовных коллег — настоятелей соседних приходов. Этот верит? А тот? А тот? Выпив, они, почти не скрываясь, смеются над таинствами.

А этот?.. Они никогда не говорили открыто, но Звейсалниекс угадывал, что этого тоже гложут сомнения. Однако он не рвет с церковью!

На что они могут рассчитывать, служители бога, отказавшись от сана? Что они знают? Что умеют? Молиться? Он, Звейсалниекс, целиком зависит от церкви. Сможет ли он себя содержать без церкви? Обеспечить спокойную старость матери?

Он не смеет не думать о матери. Мать его верует. Если сын отречется, что будет с ней?

Звейсалниекс рвал и сжигал исписанные листы. Время шло. Стремительно уходило время, человек — его соотечественник и современник — открывал, создавал, дерзал...

Распахивал целинные земли, поворачивал русла рек, оперировал человеческое сердце, исследовал космос.

Человек — его соотечественник и современник — изменял землю. Жизнь на земле. Себя самого.

А он, Звейсалниекс, по-прежнему отправлял церковные службы, исповедовал, причащал...

«Дорогие братья и сестры во Иисусе Христе... — глухо звучал его голос в старом костеле. — Будем молиться, чтобы господь бог...»

Губы выговаривали привычное, а наружу рвалось: «Не верьте! Он, мечтавший правдиво, честно служить богу и людям, морочит вас...»

Лютый стыд сжигал его, стыд за себя. Жалость к тем, кого он обманывает.

Все труднее давался теперь Звейсалниексу каждый прожитый день. День же, который предстояло прожить, казался ему еще труднее, чем предыдущий. Он лишился веры, и жизнь его лишилась смысла. И достоинства. Надо было решаться.

Надо, надо было кончать! Когда? Осенью? Нет! Он обманывал себя самого. Он старался оттянуть сроки. Зимой? Тоже нет. Новую жизнь лучше всего начинать весной, в мае. Очень красивый месяц май!

«...Убедившись в том, что в течение более десяти лет я шел по слепому и ненужному обществу пути, я решил отказаться от сана священника...»

Месяц май стоял на дворе. Отречение было написано. Болеслав вышел из дому: он не мог оставаться в доме.

Только что на город обрушился дождь. Майский, сильный, мгновенный. И прошел. Мокрый воздух пахнет озоном. На асфальте маленькие костры: это в лужах полыхает свет фонарей. Болеслав идет безлюдными в этот час переулками, сворачивает к реке.

Что его ожидает? Поверят ли в его искренность? Слишком долго он проповедовал ложь, злоупотреблял верой! Он знает, какую силу негодования обрушит на него церковь!

А мать?.. Болеслав старается не думать о матери.

Светлеет небо. Вынырнув из-под облака, повисает в небе луна, круглая, крепкая, налитая. Болеслав стоит над рекой и не может оторвать взгляда от тяжелой, отливающей желтоватым светом воды. Вода нестерпимо притягивает его. Шаг, еще шаг... И все! Ни тревоги, ни страха, вечный покой.

— Ого-гоо!.. — отделившись от дерева, кто-то движется к нему напрямик по освещенной луной траве. Звейсалниекс узнает брата.

— Это ты, Болеслав? Мать послала. Поздно. Пошли...

Не спалось ему в эту ночь. Стоило только закрыть глаза, казалось: снова он над рекой, нет, над пропастью.

Латгальский мальчик, выросший в смутные военные годы, получивший обрывки знаний, начиненный церковными догмами, понимал ли он, что его трагедия была во все времена и эпохи трагедией многих связанных церковью умов человеческих? Что был он наследником их по духу?

Болеславу казалось: он снова стоит над рекой... Шагнуть? Уйти незаметно, тихо? Исчезнуть? Унести с собой так и не раскрытый обман? Нет! Жизнь у человека одна...

Возвращение

Наутро, закончив богослужение, Звейсалниекс поехал в Ригу.

Я представляю, как, упрямо сжав губы и вскинув голову, вошел он в приемную одной из рижских газет — статный, красивый, совсем молодой человек. Как сказал сидящей за секретарским столом девушке, что хочет видеть редактора. И назвался: ксендз Звейсалниекс...

Как, ожидая, пока доложат о нем, стоял у окна. Отречение лежало в кармане. Но... отдаст ли его? Решится ли? Звейсалниекс с опаской поглядывал на дверь. Как его примет тот, кто сидит за этой обитой, не пропускающей звуков дверью, — коммунист и безбожник? Все, с чем пришел сюда Звейсалниекс, может рухнуть сейчас от неосторожного слова, интонации, взгляда...

Дверь открылась.

— Входите, — сказала девушка.

И Болеслав заставил себя войти в эту дверь.

...Рассказывая мне о своем отречении, Звейсалниекс не раз возвращался к этому дню и к этой встрече. И тон рассказа его становился при этом иным, чем когда он говорил о предшествовавшем. Будто что-то произошло с ним за этой дверью. Будто именно там что-то окончательно было им решено. Но при этом он, как всегда, опускал подробности.

— Ну, сказал, что я правильно поступаю, — имея в виду человека, с которым он встретился в редакции, повторял Звейсалниекс в ответ на мои расспросы. — Ну, сказал, что помогут...

Я же чувствовала: не это, не только это. Было что-то еще. И, отчаявшись выведать что-либо у Болеслава, я отправилась к этому человеку.

Разыскав товарища Н. (не смею раскрыть его настоящее имя, потому что дальше должна говорить о чем-то для него очень личном), я с превеликим трудом пробивалась сквозь его типичную для латвийца сдержанность. По многу раз и с разных сторон возвращалась к одному и тому же — к встрече его со Звейсалниексом, пока мне не удалось наконец выяснить, нет, вернее, представить себе разговор, происшедший в тот памятный день.

...Он почти ни о чем не расспрашивал Звейсалниекса, грузноватый, с простым крестьянским лицом человек, казавшийся старше своего возраста. Да ему и не надо было расспрашивать.

Я не знаю, на какой минуте их встречи, только Н. рассказал Звейсалниексу о себе, и мне почему-то кажется, это было всего нужнее.

— Мы с тобой земляки, — так примерно сказал Болеславу Н. — Как и ты, я латгалец. Верoвал с детства. В детстве прислуживал ксендзу, как и ты.

На свете всего дороже мне была моя мать. А она мечтала знаешь, о чем? Чтобы сына увидеть ксендзом. Чтоб принять причастие из рук сына, из этих вот моих рук... Только я не пошел в ксендзы.

Во время войны, когда Н. партизанил в Латгалии, гестаповцы схватили его стариков — отца и мать. Увезли в Даугавпилс, в тюрьму.

Страшная слава шла об этой тюрьме, впрочем, как и о других фашистских застенках. Н. понимал: надежды нет.

— Если б умел я тебе рассказать, что чувствовал!.. Думал: «Может, это наказание божье? Я комсомолец и против бога. И воюю на стороне безбожников...»

Не могу тебе рассказать... — Голос Н. звучит приглушенно, хрипло. — Только я, как безумный, бросался на пулеметы. Ничего не боялся. Твердил про себя одно: «Ну, убей меня, боже, если ты есть! Докажи, что ты есть, — убей!»

(«Господи! Если ты действительно есть, порази меня, накажи меня, не допусти моего отступничества», — может, это вспоминается Болеславу?)

Н. вынимает носовой платок из кармана и, почти закрыв им лицо, подозрительно долго сморкается, откашливается, вытирает глаза.

А спрятав платок в карман, наконец говорит очень просто и очень устало:

— Глупости это все! Это все у нас с тобой от нашего детства. От верующих родителей. От формирования взглядов...

И, по-прежнему ни о чем не спрашивая, принимает из рук Звейсалниекса тот листок, на котором его отречение.

...Восемнадцатый день мая в 1958 году выпал на воскресенье. В этот день в республиканской газете появилось отречение Звейсалниекса.

В Салдусском же костеле, как всегда, в этот день должна была состояться утренняя служба.

Ксендз Звейсалниекс появился на амвоне без сутаны, в обычном своем костюме. Гул прошел по костелу и тут же стих. Тишина напряженного ожидания воцарилась в костеле.

Народу собралось гораздо больше обычного. Многих Звейсалниекс видел в костеле впервые. Значит, слух о его отречении разнесся уже по городу?

Душноватый сумрак костела. Запах зажженных свеч и ладана. И увядающей зелени... Люди напряженно молчали. И ксендз молчал. Он стоял на амвоне без сутаны, под огнем перекрестных взглядов, недоверчивых, недоуменных. И злых. И доброжелательных. Стоял, упрямо сжав губы и вскинув голову. Прямо перед ним в высоких окнах костела синело майское небо.

Синий весенний мир стоял за этими окнами.

— Я уйду! — не отрывая взгляда от окон, сказал неожиданно Звейсалниекс.— Я уйду! — повторил он порывисто, хоть совсем не так собирался начинать свою речь. — Я заблуждался. Бога нет!

Мгновение тяжелой тишины. Чей-то угрожающий выкрик. И всхлипывание. И вскрики. Кто-то поспешно, осеняя себя крестом, упал на колени. Толпа заколебалась, задвигалась. Звейсалниекс видел, как бессильно опустилась на пол перед амвоном его мать. Он все видел. И ничего не видел. Он говорил, покрывая голосом говор и шум в толпе.

Он бросал в глубину костела стыд свой, свою многолетнюю боль...

— Бога нет! Я обманывал вас. Если можете, то простите...

Когда Звейсалниекс вышел из костела, на тротуаре стояли люди. Не расходились. Ожидали его. Одни смотрели хмуро и гневно. Другие растерянно. Третьи ободряюще улыбались ему. Подходили мужчины. Жали руку.

— Если вы говорили от души...

Какие-то старушки бежали за ним:

— Мацитайс [1]! Мы старые люди. Мы не можем без церкви и без молитвы. Мы привыкли к тебе. Останься с нами!

Тени их сливались в одну, и она бежала за ним по асфальту, как тень его прошлого.

Звейсалниекс не слышал их. Он почти ничего не слышал. Синий весенний мир лежал перед ним. Одержимый мужеством Возвращения, он шагал в этот мир.

Горьковато и нежно пахло распускающейся листвой. Месяц май стоял на дворе. Очень красивый месяц май...

[1] Мацитайс — батюшка.

ГЕОРГ СЕБАСТЬЯН:

музыка сближает сердца...



Фото Е. Умнова.

На репетициях он разговаривает с артистами Государственного симфонического оркестра СССР по-русски, и многие, обращаясь к нему, зовут прославленного маэстро Георгий Карлович. Так повелось еще в тридцатые годы, когда дирижер Георг Себастьян был в нашей стране. Ценители музыки помнят его постановки всех опер Моцарта в концертном исполнении. Запомнилось исполнение симфоническим оркестром Московского радио произведений Рихарда Вагнера под управлением Себастьяна. И вот он снова в Москве.

— До приезда в Москву, — рассказывает Себастьян, — я выступал в американском городе Юстон (штат Техас), дирижировал симфоническим оркестром, который недавно создан там Леопольдом Стоковским. Мы играли симфоническую фантазию Чайковского «Ромео и Джульетта» и его же Четвертую симфонию.

Георг Себастьян увлеченно рассказывает, что и русская классика и произведения современных, советских композиторов пользуются большой любовью в США.

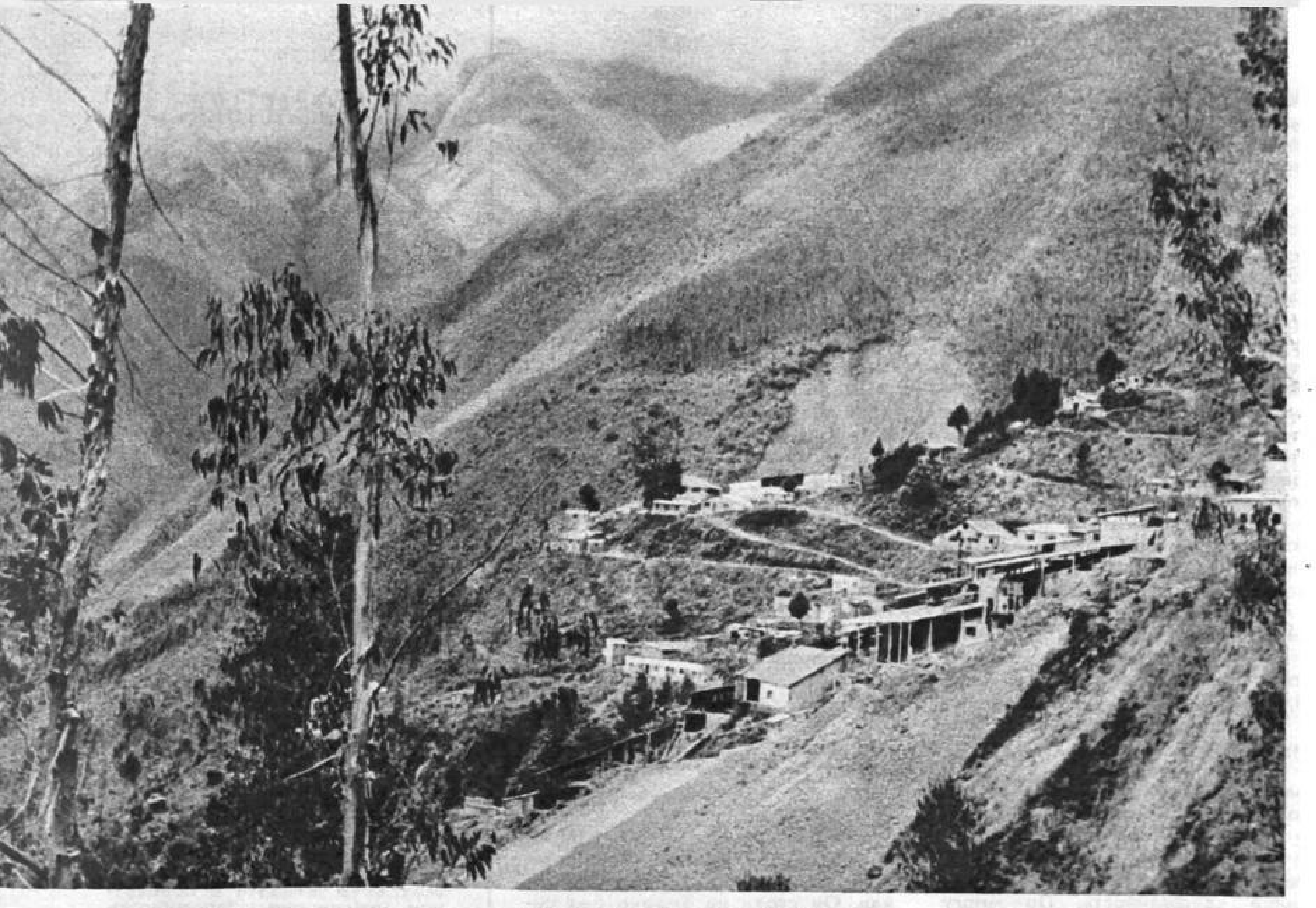
— А в Париже?

— О, конечно! Особенно популярны там произведения Прокофьева. Услышав год тому назад в Софии оперу «Война и мир», я сам пришел в восторг и загорелся идеей поставить это изумительное произведение на парижской сцене. Если задуманное осуществится, это будет уже третья по счету русская опера, поставленная в Париже под моим управлением. «Евгений Онегин» прошел на сцене «Опера комик» уже 35 раз, а «Пиковая дама» готовится к постановке в «Гранд-Опера».

У нас в Париже, — продолжает гость, — мало кто из гастролеров может похвалиться таким ошеломляющим успехом, который неизменно выпадает на долю советских исполнителей. Парижане уже привыкли: если выступают русские, значит, отлично!.. Впрочем, некоторые Игоря Стравинского тоже почему-то считают русским композитором, а ведь в его творчестве и грана русского не сохранилось! По поводу исполнения в Париже балета Стравинского «Огонь» (это название стояло на афише в русской транскрипции) я не мог удержаться от каламбура, подхваченного и французами: это не «Огонь», а «огония»! И впрямь, ведь иначе не скажешь об упадочнической музыке формалистов. Мой великий учитель дирижер Бруно Вальтер так отозвался о них: «Если это музыка, то я не музыкант. Но если все же я музыкант, то, извините, это не музыка».

Подлинная музыка, по меткому определению Бетховена, — говорит Георг Себастьян, — идет от сердца к сердцу. Давайте же соединять при помощи музыки человеческие сердца, способствовать сближению народов!

Еф. БОРИСОВ



Вольфрамовый рудник Ла Чохля.

Фото Ю. Честного.

РУКОПОЖАТ

Леонид СОБОЛЕВ

7. Вольфрамовый рудник

Утром 26 декабря наш караван двинулся в обратный путь. Вскоре мы свернули на узкую каменистую дорогу с крутыми поворотами, пробирающуюся по карнизам, высеченным в скале. Это была дорога, специально проложенная в свое время одной из компаний для вывоза вольфрамового концентрата с рудников Ла Чохля, находящихся в восемнадцати километрах от шоссе и принадлежащих сейчас американской компании. Копи высверлены в горе на нескольких горизонтах на высоте от 2 200 до 2 600 метров.

По пути нас завезли в детский лагерь, расположенный в живописном склоне покрытой лесом горы. Этот единственный в Боливии детский лагерь — гордость министерства труда и профсоюза горняков. Он выстроен после национализации горнорудной промышленности и обслуживает 300 детей горняков, которые проводят здесь бесплатно две недели. Работает лагерь круглый год. Сам дом двухэтажный, он окружен подсобными помещениями, столовой, кухней, жильем для обслуживающего персонала и для воспитателей, которыми являются четыре монаха и девять монахинь, приглашенные министерством. Дети спят в комнатах на десять человек, где стоят железные двухъярусные койки. В столовой, в глубине большой комнаты, сияет цветными лампочками пещера с волхвами, пришедшими приветствовать рождение Христа; Христос, Мария и волхвы — стандартные куколки, продающиеся в эти дни во всех магазинах. Молодой монах-францисканец, в традиционной темной рясе, с открытой голой шеей и поясом из веревки, показал нам макет, деловито выключил освещение и пригласил выпить кофе, который принесла монашка. В разговоре выяснилось, что он сам из Голландии, что в Боливию приехал по воле Ордена и здесь работает воспитателем, а монахини в основном заведуют хозяйством. Нас провели на кухню, где, и точно, распоряжались две монахини, а работали шесть местных женщин, растапливая плиту, принося воду, чистя картошку. На дворе нас обступили дети в возрасте от семи до двенадцати лет, черномазые, веселые, шумные, любопытные — настоящие, обыкновенные дети, весьма довольные своим существованием...

Через полчаса мы приехали на рудник. Слева от дороги стояло большое здание обогатительной фабрики, круто уходящее вниз своими наклонными галереями, как и полагается всякой обогатительной фабрике, где производственный процесс совершается сверху вниз. Возле нее, наоборот, лезли в гору, лепясь друг над другом, дома рабочих и инженерного персонала. Проход к ним вел через изящный подвесной мост, покачивающийся над узким и глубоким ущельем. В стороне от жилого места высилась самая гора, в тело которой впились шахты и штольни, где и добывается вольфрамовая руда.

Нас сперва повели к зданию клуба для встречи с руководителями профсоюза и с представителями горняков. На площадке перед ним нас ожидала довольно большая толпа. Будучи уже людьми опытными, мы переглянулись, и кто-то обреченно сказал: «Братцы, держитесь... Конфетти!..»

В самом деле, в передних рядах стояли восемь или девять женщин, занеся уже правую руку с полным зарядом конфетти — этого традиционного боливийского средства выражения радостных чувств при встрече дорогого гостя. Конфетти сыплют вам на голову, мельчайшие бумажные кружочки охотно залезают за воротник, прилипают к коже, и вечером вы с трудом отмываете их в ду́ше и с беспокойством рассматриваете рубашку, покрывшуюся цветной осыпой. Иногда к залпу конфетти добавляется еще и узкая зеленая или красная лента бумажного серпантина, которым вам деловито обматывают шею, пока лента не оборвется. Следует остерегаться выкрикивать приветствия в непосредственной близости к встречающим. Однажды, закричав от всей души «Вива Боливи-а-а-а!», я получил в раскрытый рот добрых триста граммов мелко нарезанной бумаги и долго не мог от нее избавиться.

В предвидении встречи те из нас, кто имел шляпы, поспешили надеть их. Но это не помогло. Заметив непорядок, женщины левой рукой приподымали наши шляпы, а правой сыпали конфетти именно туда, куда полагается,— на волосы или на лысину. Затем произошел традиционный обряд приветствия: после рукопожатия полагается правой рукой обнять встречающего, слегка прижать его к себе или похлопать по спине (что он проделывает и с вами) и затем снова крепко пожать руку. Сперва мы забывали о вторичном рукопожатии, чем, как выяснилось, не желая этого, обижали людей, так сердечно и радушно встречавших нас: в этом повторном рукопожатии после объятия есть какой-то особый смысл, подчеркивающий ваше дружеское расположение.

После тридцати или сорока таких объятий нас провели в здание клуба, где мы собрались в единственном небольшом зале, предназначенном для демонстрации фильмов. Народу набилось доверху, мы обменялись с руководителями профсоюза короткими речами и отправились на самый рудник.

Вход в него, зияющий в скале темной пещерой, находился значительно выше поселка. Нас подвели к вагонеткам, дожидавшимся снаружи, у входа в штольню. Тут стояли десятка три женщин с кастрюльками, судками, термосами, бутылками: это грузился на платформу обед для горняков. Мы залезли в пустые вагонетки, скорчились на дне, и грохочущая гусеница, извиваясь на крутых поворотах, потащила нас по штольне.

Поезд остановился в низком, тускло освещенном подземном зале, уставленном столами. Это была столовая, где часть горняков уже заканчивала обед, освобождая место другим. Хлюпая по воде, журчащей вдоль рельсов, мы пошли узкими каменными коридорами туда, откуда доносился рев буров. То и дело раздавался звонкий металлический «чок», регистрирующий очередной удар чьей-то каски о нависший выступ породы. Тем из нас, кто повыше, приходилось идти порядком согнувшись. Тяжелый, сырой воздух, бедный вдобавок кислородом (высота этого горизонта шахты над уровнем моря была около 2 400 метров), эта вынужденная согбенность, мешающая дышать и утомляющая мышцы, заставляли с благодарностью вспоминать подземные дворцы нашего кавказского Тырны-Ауза, расположенного почти на той же высоте. И если подумать о том, что боливийский горняк проводит здесь в тяжелом труде не только восемь, а иногда и все двенадцать часов в сутки, чтобы заработать не более одного доллара, мечта его о реконструкции рудников и их оборудовании станет понятной.

Здесь было не олово, а вольфрам, который поблескивал чернью в ослепительных кварцевых

Окончание. См. «Огонек» № 16.

каменных потоках, текущих по сводам и стенам штольни. Но варварские способы добычи ничем не отличались от тех, какими боливийские оловянные магнаты жестоко и бездушно выбивали деньги за счет здоровья людей. Мы с удивлением увидели, что бурильщики, пуская в ход пневматический бур, одновременно вытаскивают из-под воротника большой платок и закрывают им нижнюю часть лица, спасаясь от мельчайшей каменной пыли, которую визжащие сверла выбрасывают в воздух с первым же оборотом. Позже, на поверхности, мы спросили американского специалиста, главного инженера рудника, почему у них нет респираторов, не говоря уже о кислородных масках. Ответ был настолько уклончивый и маловразумительный, что повторять вопрос было бессмысленно.

В грохоте и шуме буров, вагонеток, обвалов руды, скатывающейся по наклонным штрекам на нижний горизонт, где ее грузят в вагонетки, трудно было беседовать с рабочими. Краткие встречи с ними в этих подземных ходах ограничивались белозубыми улыбками, сияющими в свете наших фонариков, крепкими рукопожатиями и традиционным объятием. Раза два-три в более тихих местах нас обступали горняки, и тогда опять возникал все тот же вопрос: правда ли, что СССР может оказать техническую помощь?

Позже, в миленьком и уютненьком коттеджике, куда нас пригласили на завтрак, в разговоре с пятью-шестью американскими инженерами мы узнали, что они получают по 400 долларов в месяц, почти вдвое больше инженеров-боливийцев. Я спросил, почему такая разница. «Я же американец! — с некоторым удивлением ответил мой собеседник.— У меня контракт».

Нет, не все было так гладко, как это выглядело в превосходном кабинете председателя КОМИБОЛа (Корпорации горной промышленности Боливии), когда мы беседовали там о новых условиях труда и зарплаты и об освобождении боливийской горной промышленности от американского влияния!..

На обратном пути, глядя на прекрасную картину горной дороги, развертывающуюся перед глазами, я припоминал известные мне сведения о борьбе боливийского рабочего класса против сплоченного фронта своих и иностранных капиталистов, которая ведется уже не первый десяток лет. 1943 год — забастовка горняков Катави на рудниках Симона Патиньо и расстрел трехсот рабочих... 1948 год — грозная забастовка в том же Катави и 5 тысяч человек, выброшенных с шахт, с обогатительной фабрики... 1952 год — прямое участие в революции, рождение рабочей милиции, сохранившей и до наших дней в руках оружие и готовой дать отпор любому авантюристическому путчу, что и случалось в эти годы... Как мало мы знаем о тех не всем видных героических усилиях, которые люди труда в разных странах, на разных континентах, везде по-своему прилагают к тому, чтобы объединиться, договориться между собой, привлечь новых сторонников и начать ту борьбу, которая в других странах других континентов привела таких же людей труда к победе!

Под вечер мы начали карабкаться к знакомому Христу на перевале по дороге в Ла Пас. И тут нам пришлось вспомнить слова министра экономики, что в Боливии за несколько часов можно увидеть решительно все виды климата. В самом деле: только что мы были в тропиках, и вот уже мы в каменной пустыне, пронизываемой холодным осенним ветром, а еще через четверть часа на ветровое стекло стали садиться снежинки, и скоро бурые камни исчезли под снегом, а бетонный Христос — в густой белой туче. Потом, после перевала, пурга начала утихать, камень — появляться из-под снега, небо — заливаться веселой синей краской. Наконец заходящее солнце брызнуло из серой мутности яркими лучами — и в ветровом стекле, еще хранящем влажные струйки, развернулась гигантская котловина, покрытая крышами домов, скатывающихся уступами к центру города. Это был Ла Пас, который окружающие его горы заботливо берегут от туч и снега.

8. Рабочие Ла Паса

В вестибюле отеля нас ожидала очередная делегация. Нам сообщили, что в центральном доме профессиональных союзов собрались представители рабочих Ла Паса. Так как эта встреча не числилась в официальной программе МИДа, было решено, что на нее отправится не вся наша делегация, а только двое и что мне поручается выступить с ответной речью.

Судя по приглашению, мы должны были встретиться с руководителями профсоюзов, думалось— с пятнадцатью — двадцатью. Однако, карабкаясь на «джипе» вверх по узкой уличке, мы увидели впереди громадную толпу. Потеснившись, она образовала проезд для машин, на нас посыпалось неизбежное конфетти, раздались привычные уже нам возгласы насчет янки, нас подхватили под руки, ноги наши отделились от панели. В полуподвешенном состоянии нас доставили через большой внутренний двор, также заполненный толпой, по забитой людьми широкой лестнице в большой зал, где кричало, размахивало флажками, бросало серпантин и конфетти огромное количество людей, освещенных прожекторами. В приглашении было написано «с участием всех профсоюзов», и тут оказалось, что это самое «участие» выразилось в цифре 5 тысяч человек: около 2 тысяч было в зале, тысяча — в «патио» и более 2 тысяч — на окружающих улицах, где расставлены репродукторы. Выяснилось также, что деятели профсоюзов хлопотали об этой встрече задолго до нашего приезда и были уверены, что протокольный отдел внес ее в наш календарь. Нас, оказывается, ждали три часа.

Встреча эта имела характер собрания, выражающего волю рабочего класса столицы. Здесь действительно были представители всех трудовых профессий: горняков, нефтяников, железнодорожников, работников автотранспорта, пищевой промышленности, табачной фабрики, текстильщиков, магазинных продавцов... Один за другим ораторы выражали твердую решимость рабочих добиться того, чтобы правительство договорилось с Советским Союзом об экономических отношениях.

Из страстных речей, которые поддерживались криками и аплодисментами, нам еще и еще раз становилось понятно, какое место на планете и в истории отводят Советскому Союзу рабочие Ла Паса. «Самая могучая страна мира... Надежда всего человечества... Мощь № 1... Страна, ценою крови своих людей создавшая основу счастья людей всего земного шара... Страна, где революционная теория превратилась в металл, в электроэнергию, в хлеб, в космические ракеты» — вот те взволнованные слова, которые мне удалось записать.

Люди говорили и о себе, о том, что в Боливии профсоюзы достигли единства, что они научились вести борьбу по всем линиям. На этом этапе революции задачей профсоюзов является помощь в перестройке жизни страны. Но есть и другая великая задача — это сближение с социалистическими странами. Говорилось и о деревне. «У нас есть обманутые члены профсоюзов, которые хотят копировать Европу,— сказал один из ораторов.— Они не признают индейской общины, а между тем это наш, боливийский путь укрепления сельского хозяйства». Кто-то упомянул в своей речи о Кубе — и тотчас весь зал подхватил: «Куба — Кастро! Куба — Кастро!»

Нам впервые пришлось видеть такое большое собрание рабочих людей Боливии. Зал ни секунды не был спокоен, все в нем шевелилось, все кипело, люди наклонялись друг к другу, обменивались репликами, руки то и дело взмахивали флажками или подымались над головой в аплодисментах, ноги поддерживали их топотом. Мгновенная реакция на слова оратора поражала: иногда в зале наступала глубокая тишина — все вслушивались, иногда внезапно нарастал шум — значит, оратор перешел к общим местам. Однажды в глубине зала возник свист, сразу же подхваченный во всех концах. Я спросил, чем именно оратор вызвал этот протест. «Пусть короче говорит,— объяснил мне сосед,— он повторяет то, что уже сказано». Но кого-то и впрямь согнали с трибуны (если так можно назвать крохотную площадку на краю эстрады, уставленную тремя или четырьмя микрофонами и облепленную людьми, сидящими на корточках перед первым рядом зала). Оказалось, что так отнеслись к представителю профсоюзной организации одной из фабрик, где сильно американское влияние.

Поразительный вечер, навсегда врезавшийся в память, заканчивался. Пошли прощальные слова, к столу, за которым мы сидели, придвинулся вплотную живой прибой улыбок и протянутых рук, держащих фотографии, блокноты, книжки, профсоюзные билеты и просто клочки бумаги: все требовали наших автографов. Тяжелый стол пополз на нас, угрожая придавить к стене,—спасли лишь ручки грузных кресел, в которых мы сидели. Кое-как удалось выбраться к дверям; наши подошвы снова отделились от пола, и в разноцветном снегопаде конфетти под крики и приветствия мы поплыли вниз по лестнице мимо толпы на дворе, мимо толпы на улице и, наконец, были всунуты в «джип».

Получилось так, что эта встреча с рабочим классом столицы как бы распахнула дверь в тот мир, которого мы еще не видели в Боливии,— в мир людей труда. На следующий же день мы попали в самый центр этого мира, в легендарное Катави — туда, где впервые восстал боливийский рабочий класс, откуда он начал разрушать крепость оловянных магнатов массовыми забастовками, в исторические места, где в 1943 году пролилась кровь горняков и где через девять лет была провозглашена национализация горнорудной промышленности.

9. На шахте «XX век»

Утром 29 декабря на транспортном самолете военной авиации — полупассажирском, полугрузовом — мы вылетели в Катави. Самолет шел на четырех тысячах метров над океаном и на пятистах — над боливийской землей, уставленной бурыми каменными горами, изредка покрытыми зеленью. Иногда мы пролетали между двумя вершинами, порой под крылом уходила вниз долина. Проплыло внизу озеро, перечерченное, как по линейке, дамбой железной дороги от Оруро на Катави, а вскоре показался маленький аэродром, вернее, расчищенное каменное поле, на краю которого чернела большая толпа и виднелось множество автомобилей. Самолет дал хорошего «козла», подпрыгнул, правое крыло его почти задело землю, и невольно подумалось, что не зря в Ла Пасе нам навязали обязательную страховку жизни на сумму в пять тысяч долларов: кажется, наши семьи имели шанс ее получить. Однако, подпрыгнув еще раз, самолет выровнялся и покатился навстречу людям, уже бежавшим к нам. Мы вышли из самолета и с этого момента до самого возвращения в Ла Пас не могли стряхнуть с себя все то же конфетти, потому что нас посыпали им в среднем дважды в час.

Шахта «XX век» — историческая шахта, где произошли и расстрел горняков в 1943 году и свержение оловянных королей в 1952-м,— находилась километрах в четырех-пяти. Этот путь превра-

ИЕ В АНДАХ

тился в некое триумфальное шествие. Впереди шел грузовик с рабочим оркестром, за ним — другой, с вооруженной народной милицией из горняков, затем наш, украшенный флагами Боливии и СССР. На нем в первом ряду, держась за крышу кабины, стояла наша делегация, окруженная хозяевами — представителями профсоюзов, администрации, молодежи, интеллигенции. За нашей машиной, извиваясь длинной лентой, тянулось десятка три набитых людьми грузовиков. Скоро мы въехали в тесную улицу. У домов стояли женщины в странных высоких белых цилиндрах с черным узором, которые великолепно оттеняют смуглоту их лиц. На крышах и на каменных стенах, заменяющих здесь заборы, как и полагается, торчали дети — полуголые, черные, то ли от солнца, то ли от пыли, все белозубые, все с блестящими от любопытства глазами. Везде были флаги, плакаты, один из них очень трогательный: на нем русскими буквами было написано: «Слава СССР!».

Караван остановился возле здания, оказавшегося клубом, нас провели в зал, где состоялась первая официальная встреча с городскими властями и с руководством рудника и обогатительной фабрики, а затем на этих же автомобилях все двинулись к площади городка шахты «XX век».

Когда мы взошли на балкон второго этажа, превращенный в трибуну и украшенный цветами и флагами, перед нами, сколько хватал глаз, открылось море голов, по которому, как барашки волн, плескались плакаты. Площадь была довольно большая, но люди заполнили и вливающиеся в нее боковые улицы и крыши окружающих ее домов. Нам сказали, что здесь около шести тысяч человек, да еще пять стоят на улицах вокруг площади, где установлены репродукторы: на митинг собрались не только горняки с рудника «XX век» и рабочие обогатительной фабрики в Катави, но и множество горняков с других предприятий, в том числе делегации из далеких горняцких центров Потоси и Кочабамба. Постановлением профсоюзных организаций работы в этот день были приостановлены с утра до 14 часов.

На левом краю площади возвышалась скала с выразительной фигурой горняка на вершине — памятник жертвам расстрела 1943 года. Возле него стояли две высокие мачты. Митинг начался с торжественного подъема флагов Боливии и Советского Союза, причем советский флаг подымал боливиец, председатель митинга, а флаг Боливии — Н. Н. Родионов, руководитель нашей парламентской делегации. Оркестр сыграл оба гимна, а потом вся площадь запела рабочий гимн Катави.

Слушая начавшиеся выступления, мы с любопытством всматривались в эту армию горняков, стоящую перед балконом. Каски горняков, мелькавшие там и здесь, придавали этому собранию людей действительно воинственный вид. Это и была армия — армия труда, армия рабочего класса, не первый десяток лет сражающаяся за лучшее будущее боливийских трудящихся. Сотни плакатов колыхались над ней, как боевые знамена, потому что слова, написанные на них, были боевыми призывами к действию. «Не нужно подачек США!» — объявлял один плакат. «Мы знаем: помощь СССР — это помощь без условий»,—подхватывал эту мысль другой. «Пусть сегодня же министры подпишут соглашение с Советским Союзом о помощи!» — кричал третий. И, пожалуй, на каждые два плаката, приветствующие СССР, нашу парламентскую делегацию или взаимную дружбу, приходилось по меньшей мере по одному плакату, выражавшему неприязнь к американскому капиталу. Это и понятно: рудник «XX век» в свое время принадлежал Симону Патиньо, самому жестокому и беспощадному оловянному королю из всей ненавистной горнякам тройки, и здесь еще жива память о тяжком иге доллара.

Я сказал «армия». Надо было сказать другое — «гвардия». Это была гвардия боливийского рабочего класса, создававшаяся в боях. Здесь самая мощная профсоюзная организация Боливии: на руднике «XX век» — пять тысяч членов профсоюза, а рядом, на обогатительной фабрике Катави,—еще три тысячи; влияние здешних профсоюзных организаций распространяется на всю страну. Поэтому направленность митинга определилась с первых же речей. Выступали руководители профсоюза, инженеры, пришла делегация горняков с рудника «Санта Фе» и из Оруро, делегация горняков Потоси, делегация горняков-индейцев Аймара. «Если понадобится, вся Боливия поставит здесь свои подписи»,— сказал горняк из «Санта Фе», передавая нам грамоту. «Мы хотим вашей помощи,— говорили горняки из Потоси,— это единственный способ вырваться наконец из-под гнета капиталов США».

Запомнилось любопытное происшествие. На трибуну вышел один из руководителей молодежной организации. Площадь встретила его дружным свистом, он долго не мог начать говорить. Мне был непонятен такой прием, потому что молодой человек говорил правильные вещи. Но когда он сказал: «Мы тоже были против американской помощи»,— опять раздались свистки и крики: «Не вы...» Оратор пытался продолжать: «Ведь мы обратили свои взгляды на СССР...» И тут явственно донеслись крики: «Примазаться хочешь?» В разговоре с соседом я узнал, что оратор представлял ту группу молодежи троцкистского толка, которая сопротивлялась общему движению в поддержку советской помощи и которая на днях резко переменила курс и попыталась, как говорят, возглавить всю горняцкую молодежь.

Я обводил взглядом эту поразительную картину. Огромная толпа людей, стоящих на площади, глаза, устремленные на балкон; суровый пейзаж голых гор и высоких конусов отвалов отработанной породы; синее знойное небо, с высоты которого солнце почти отвесными лучами освещало обилие красок, разноцветье флагов, блеск горняцких касок, белизну сомбреро женщин, пестроту индейских вязаных шапочек у детей; бронзовая фигура горняка Катави, неразличимо смешавшаяся с живыми фигурами, облепившими памятник и скалу, осеняемую двумя громадными флагами наших государств; грузовики с людьми, обступившие край площади, и серебристо-зеленая роща эвкалиптов за ней... Я смотрел на эту панораму народного сборища и думал о том, какую необыкновенную силу имеет стремление людей к взаимопониманию и на какие грандиозные дела может быть обращена эта сила... И тут в эти мысли врезались страстно прозвеневшие рядом испанские слова: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Вознесенная порывом борьбы на высоту скалы бронзовая фигура бойца-горняка убедительно подтверждала эту фразу, звучащую, как клятва. Музыкой этого собрания, не выразимой словами, был тот высокий подъем чувств громадного количества людей, который владел всей массою их. Это было единство — единство рабочего класса. Из многих впечатлений моей жизни это — одно из самых сильных.

Тем большим диссонансом, резким, словно скрип железа по стеклу, прозвучало известие, которое мы получили по окончании этой знаменательной встречи. Из Ла Паса нам рассказали по телефону следующее.

В то самое время, когда труженики Боливии душевно и дружески встречались с нами, в Ла Пасе служитель Христа, заканчивая в соборе мессу, произнес проповедь, которую вернее было бы назвать погромной речью. Он призвал верующих протестовать против приезда парламентской делегации Советского Союза, против переговоров об экономической помощи Боливии со стороны СССР. Ораторские ли его способности или личная заинтересованность слушателей в акциях погибших оловянных компаний, но что-то убедило аудиторию, и толпа смиренных христиан прямо из божьего храма, обители милосердия, направилась на погромное дело. По дороге к ней присоединились испытанные любители американских долларов, готовые на все. Площадь перед нашим отелем была заполнена этим христианско-бандитским конгломератом, вожаки которого потребовали у портье ключи от комнат, занятых парламентской делегацией Советского Союза, чтобы выбросить оттуда наши чемоданы и вполне культурно, с благословения церкви сжечь их на площади вместе с государственным флагом СССР. Посланцам церкви удалось разбить окна в наших комнатах. Но затем возле отеля появились карабинеры и пожарные машины. По разгоряченным бандито-христианам ударили струи холодной воды, которые отрезвляют и успокаивают даже и в этом климате.

Кончилась эта «политическая акция», организованная через церковь и наемников, весьма занятно. То ли они не разобрались, в чем дело, то ли инстинкт разрушения уже забушевал в их утлых душах, то ли попросту кое-кто перехватил для храбрости излишнее количество бесплатного виски, но оттесненные от отеля «Крильон» хулиганы повернули фронт, накинулись на парагвайское посольство, ни к чему не причастное, и выбили там дорогие зеркальные стекла. Как говорится в технике, реле сработало не туда. Трагикомизм этого действия долларокатоликов заключается в том, что особняк является личной собственностью парагвайского посла, который таким образом испытал на себе весь смысл поговорки «в чужом пиру похмелье».

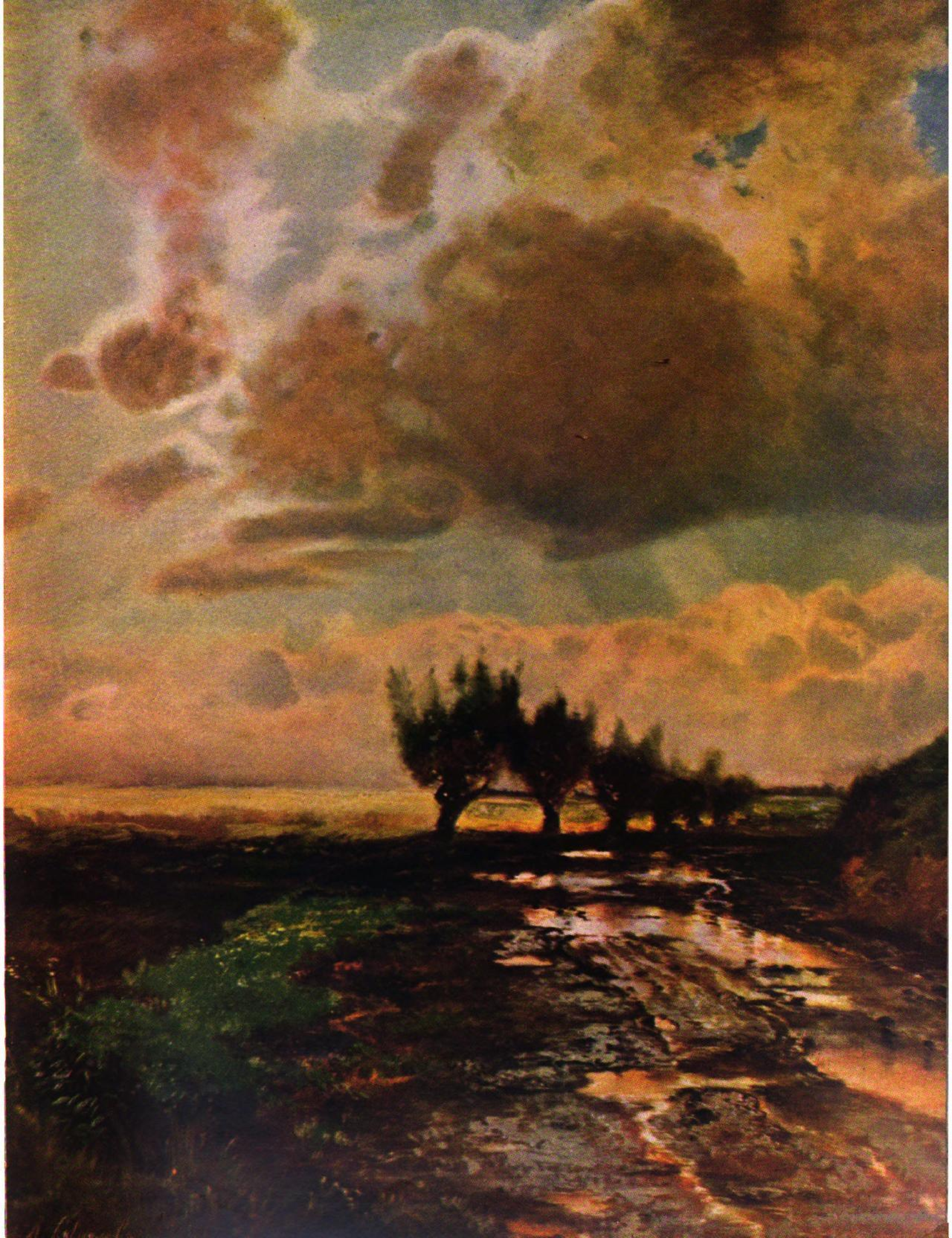
Есть некоторая символика в совпадении событий этого дня, в том, что все это происходило тогда, когда наша делегация, окруженная десятками тысяч боливийских трудящихся, говорила с ними о том, что было их мечтой и что могло осуществиться,— о способах избавления от ига больших денег, которые купили и христианскую погромную проповедь и услуги лапасских бандитов.

А что в помощи боливийская индустрия нуждается, мы лишний раз убедились, пройдя по обогатительной фабрике в Катави и увидев, в каком отчаянном состоянии находится ее техника. Порой начинало казаться, что шахту, руда которой доводится здесь до концентрата, надо называть не «XX век», а «XIX век»,— настолько все агрегаты этого брошенного капиталистами предприятия одряхлели и материально, и конструктивно, и экономически. Та громадная сумма, которую в Ла Пасе называли нам в министерских кабинетах,— 100 миллионов долларов, потребных для переоборудования горношахтной техники,— теперь воплощалась в печальном зрелище расшатанных механизмов, старомодных флотаторов, неудобных цехов, неналаженного транспорта. Снова и снова становилась понятной та яростная и тоскливая жажда усовершенствования своей техники, которая владеет горняками Боливии. И еще: здесь, в Катави, во весь рост встала перед нами необходимость для Боливии иметь свое собственное оловоплавильное предприятие.

Ценность такого рода знакомства с самой жизнью заключается в том, что все технические выкладки, все экономические соображения, все логические доводы приобретают зримость, весомость и врезаются в память навсегда. Таким оказалось для меня посещение концессионного вольфрамового рудника в Ла Чохля, где я увидел капиталистическую штольню; таким оказался и осмотр этой обогатительной фабрики в Катави, где я увидел, что получила от оловянных королей Боливия, вступая на новый путь.

И тут же сама жизнь добавила еще одно впечатление, перевернувшее всю душу. Выйдя из последнего цеха обогатительной фабрики, где укладывался в мешки оловянный концентрат, мы пошли туда, где жили рабочие. Назвать эти помещения домами никак нельзя было. Мы вошли в узкую уличку, по обеим сторонам которой тянулись низенькие не то сараи, не то склады: это были сложенные из камня и покрытые шифером стены, в которых через каждые шесть — восемь шагов были пробиты одностворчатые двери. Они ведут в помещение, порой без окон, размером 4 на 6, в лучшем случае 4 на 8 шагов. Здесь стоит супружеская кровать, комод или шкафик, маленький стол, иной раз еще и кровать матери хозяина или хозяйки. Против входной двери — другая дверь, ведущая на дворик глубиной шага на три, на четыре. Там стоит примитивный глиняный очаг с трубой, построена кладовочка, иногда курятник, но тогда жилое помещение отравляется вдобавок

А. Саврасов. ПРОСЕЛОК. →



А. Саврасов. ВИД НА КРЕМЛЬ В НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ.

ВЕСНА.

убийственной вонью птичьего помета. Кажется невероятным, но в такой хижине живет семья горняка, состоящая из мужа, жены, одного или двух стариков и неисчислимого количества детей. Здесь семьи большие, не менее 4—5 ребят.

Это рабочее жилье построено тем самым Симоном Патиньо, доходы которого превышали бюджет всего боливийского государства.

В одной из этих убогих «квартир» я неожиданно увидел вырезанный из какого-то журнала портрет Н. К. Крупской. Я зашел сюда без переводчика; немолодая женщина, встретившая меня, ничего не могла объяснить. Я показал ей на этот портрет и улыбнулся. Она показала на крохотную красную звездочку, вырезанную из жести и прикрепленную к рамочке портрета сравнительно молодого человека. Угол рамки срезала траурная лента. Может, это был ее брат, может быть, первый муж. Я не знаю, какова его судьба. Возможно, он был одним из тех, кого расстрелял президент Пеньяранда в 1943 году. Но я почувствовал, что в этом крохотном помещении, пронизанном острым запахом перченой пищи и куриного помета, смешанным с затхлостью нищей постели, живет светлое человеческое стремление, освященное кровью.

Когда я нашел одного из наших переводчиков, этой двери я уже разыскать не смог: все они были одинаковы, и надо было пройти весь длинный ряд патиньовских кассет для хранения рабочей силы, чтобы найти эту женщину и разузнать, кто же был тот боливийский горняк, чья память отмечена траурной лентой и красной звездочкой.

Вечер спускался над горами, стиснувшими горизонт, над острыми конусами светло-серых или желтых отвалов породы, над грохочущим старым зданием обогатительной фабрики, как бы разваливающимся в этом грохоте, над низкими пеналами рабочих «квартир», составляющих улички, сплошь увешанные просыхающим детским бельишком, над струйками дыма, подымающимися из бесчисленных очагов, упрятанных в двориках этих нищих домов. Ночь спускалась над Боливией, заканчивая удивительный день встречи героических горняков Катави с посланцами страны, давно уже освободившейся от своих патиньо и арамайо, давно уже вышвырнувшей за пределы своих границ иностранный капитал.

В надвигающихся сумерках нас провожали сотни людей. Впереди бежали вездесущие ребята, худые, грязные, оборванные, но веселые и не подозревающие, что жестокий закон, облаченный в цифры статистики, одну треть из них сделает жертвами рахита, легочных болезней, истощения. Нас провожали женщины в своих странных сомбреро, напоминающих ритуальные уборы первосвященников,— женщины, из которых большинство не умеет читать. Нас провожали пожилые люди, которые вынесли на своих плечах всю тягость страшной каторги патиньовских рудников и которые в этой жизненной академии хорошо научились, как вести горное хозяйство. Нас провожала молодежь, рабочая молодежь, чей неистребимый задор помножался на боливийский темперамент.

Нас провожали друзья.

КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ

Константин **МУРЗИДИ**

* * *

Расставаться с Землей —
 это значило в землю уйти.
Это было бедою,
 тоской безысходной.
А теперь это стало
 тревогой походной,
С бою взятой мечтой,
 пересадкой в пути.
Пересадкой в пути
 на другие планеты.
Так меняется вдруг
 смысл понятий, знакомых давно.
Так меняется мир,
 возникают иные приметы.
Так меняются люди.
 Они полетят. Решено!
Полетят, не боясь
 межпланетных разъездов и станций,
Небывалых просторов
 и аспидной их пустоты.
Полетят не затем,
 чтоб с Землею расстаться,
А чтоб первыми в мире
 взглянуть на нее с высоты.
Это надобно людям.
 Земля отошла, отлетела,
Стала глобусом, шариком,
 дальней лучистой звездой.
И ясней показалась.
 И надо ее переделать:
Растопить на ней льды
 и омыть ее вешней водой...
...Забирайся в снаряд.
 Остается нам времени мало.
Выходи на простор,
 набирай, человек, высоту.
Дорогая Земля
 слишком долго тебя обнимала.
Ты вернешься
 и лучше оценишь ее красоту.
Все давно уж заметили:
 после разлуки
Нам милее жена
 и дороже родная страна.
Попрощайся с прошедшим,
 пожми его добрые руки.
И — вперед!
 Наступают невиданные времена.

* * *

Небо призывает, приглашает,
А Земля не хочет отпустить,
Очень уж настойчиво мешает
На других планетах погостить.
Сдерживает силой притяженья —
Здесь родился, здесь ты и живи.
И пугает скоростью движенья
И клянется в истинной любви.
Человек — и физик он и лирик! —
Говорит с улыбкою в ответ:
«Отпусти в космические шири,
Передам я от тебя привет
Всем планетам, всем далеким звездам,
Расскажу, не скрою ничего
Про страну, где первый спутник создан,
Про людей, что создали его.
Пусть о них узнают во вселенной,
Вникнут в их великие дела,
Подивятся силе вдохновенной,
Что свершить им подвиг помогла».
И Земля смирилась: «Отпускаю!»
Он исчез в неведомой дали.
Но и там, лицо его лаская,
Было с ним дыхание Земли.
Силою иного притяженья
Связан он с планетою родной.
Там его походы и сраженья,
Все его победы, до одной.
И глядели ближние планеты
На него совсем не свысока,
Принимали с радостью приветы,
Спрашивали: «Ты издалека?
Кто тебя в глубины эти бросил?
Где надежный ждет тебя причал?»
И на все их жадные вопросы
Он без промедленья отвечал.
Необычной занятый работой,
Он, от счастья весел и речист,
Отвечал на тысячное «Кто ты?»:
«Человек, землянин, коммунист!»

А. Ф. НОВИКОВ



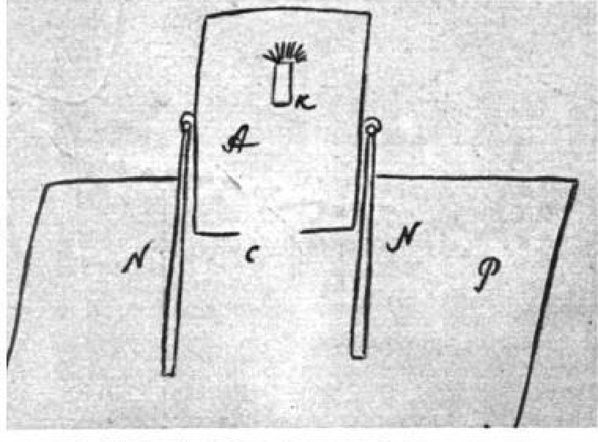
Коллектив «Огонька» понес большую утрату. Умер один из талантливейших советских журналистов, фотокорреспондентов коммунист Андрей Новиков, чьи взволнованные репортажи, очерки, яркие фотографии с разных концов земли горячо полюбились читателям «Огонька».

Мы потеряли большого друга, душевного человека, преданного нашему делу товарища, выполнявшего самые ответственные поручения редакции — будь то поездки по Советской стране или за ее рубежи.

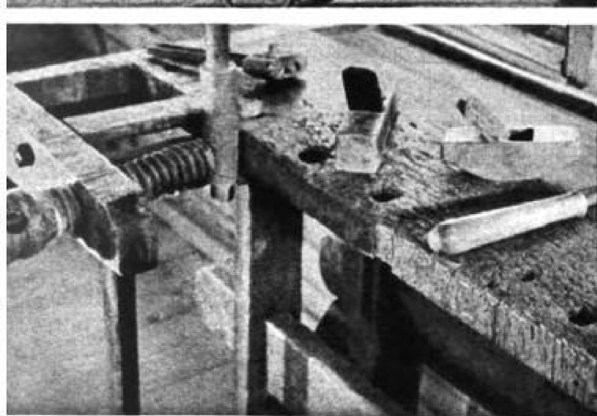
Андрей Федорович родился в 1920 году. Он прошел суровую школу Великой Отечественной войны, был фотокорреспондентом газет «Красный флот», «Известия». Более семи лет Андрей Новиков работал в журнале «Огонек».

В сердцах огоньковцев навсегда сохранится светлая память о нашем дорогом товарище, талантливом советском журналисте.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК».







ВЕХИ ВЕЛИКОГО ПУТИ

Подлинный рисунок Н. И. Кибальчича, раскрывающий принцип использования реактивного движения для полета воздухоплавательного аппарата.

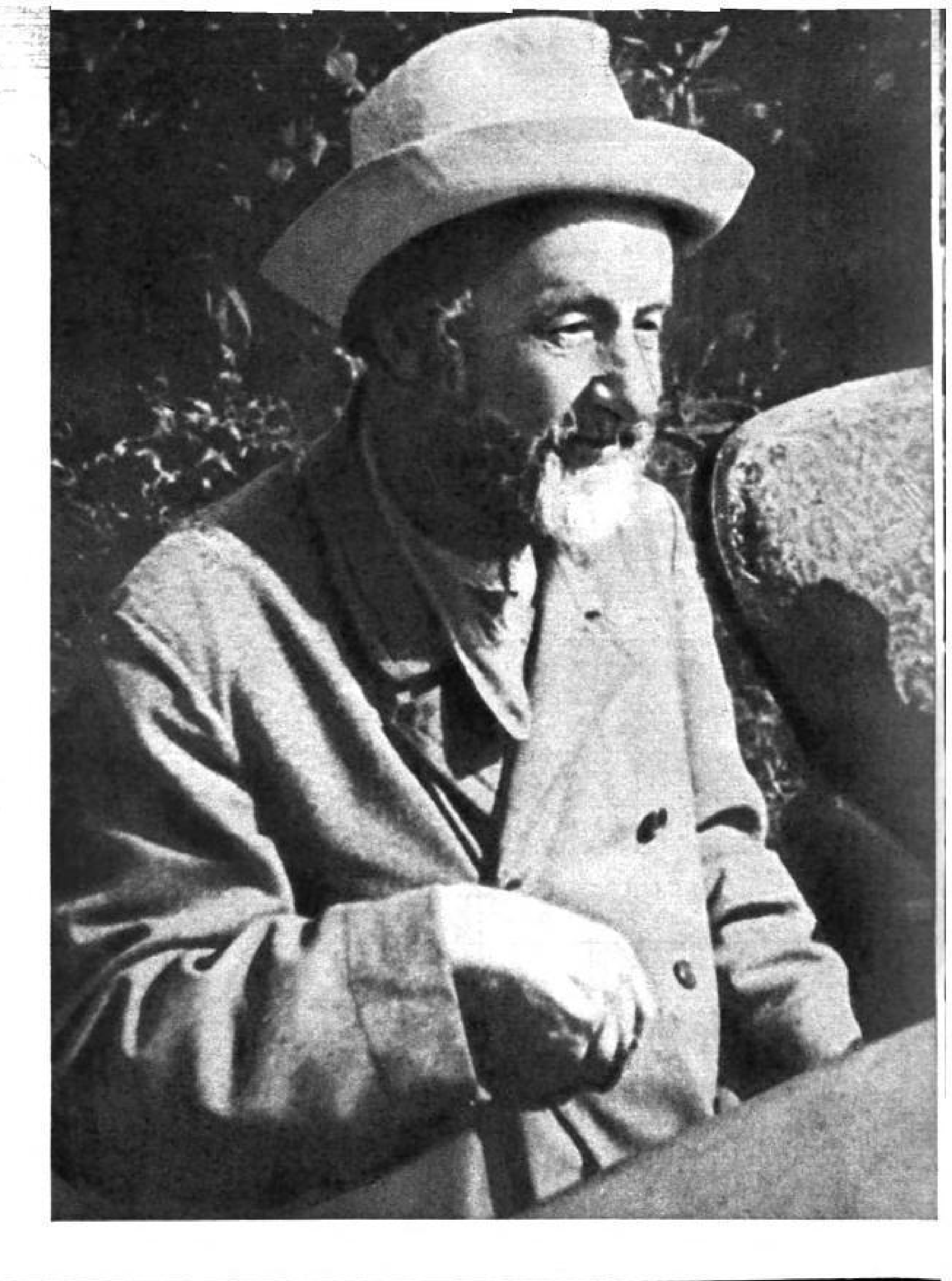
Аэроплан-велосипед.

Рабочий верстак Константина Эдуардовича Циолковского.

Константин Эдуардович и его жена Варвара Евграфовна с внуком.

На пороге космических высот...

Кинокадры взяты из только что законченной кинокартины «Великое предвидение» по сценарию Н. Саламанова. В картине использованы уникальные кинокадры, хранящиеся в архивах.



ВЕЩИЕ СЛОВА

...Я пишу эти строки, когда радиостанции всего мира транслируют с Красной площади митинг трудящихся. Народ встречает своего героя — покорителя космоса Юрия Гагарина. И я счастлив, что мне, печатавшему в журнале «Вестник воздухоплавания», который я редактировал, первые труды Константина Эдуардовича Циолковского, выпало счастье своими глазами увидеть первого космонавта, дожить до этого великого дня.

Только день назад я начал писать статью для журнала «Огонек» о том, что в фонд К. Э. Циолковского в Академии наук СССР поступило несколько новых статей и писем в ответ на наш призыв к советским гражданам, помещенный в № 39 «Огонька» (за минувший год). Первая посылка, которую мы получили, была от москвича Б. Б. Кажинского, содержавшая два подлинника научных работ К. Э. Циолковского и десять его писем. Я как раз и собирался написать о том, насколько собрание этих материалов ценно для разработки научного наследия великого нашего ученого.

Но моя работа была прервана — радио начало передавать сообщения ТАСС о долгожданном событии: первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на корабле «Восток», вырвался в космическое пространство и благополучно приземлился на родной советской земле. И тогда я вынул из хранилища пожелтевший листок бумаги, который я сберегаю как реликвию,— первое письмо Константина Эдуардовича ко мне, написанное почти 50 лет назад. Вот эти пророческие строки. (См. фотокопию.)

Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все около-солнечное пространство.

Предвидение наконец свершилось. Только не робко, а с полной, непоколебимой уверенностью вошел наш человек — советский человек! — в свой космический корабль. Не ошибся престарелый ученый, когда писал 13 сентября 1935 года в ЦК ВКП(б):

«...Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и Советской власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды».

Жизнь полностью оправдала его решение.

Б. ВОРОБЬЕВ,
ученый секретарь Комиссии по подготовке к изданию научного наследия К. Э. Циолковского Академии наук СССР.

К О С М

Профессор В. В. ПАРИН

Нет сейчас места на земном шаре, где бы не восхищались подвигом Юрия Гагарина, великими достижениями советских ученых, которые сделали возможным легендарное событие 12 апреля 1961 года. А многие уже по-хозяйски прикидывают, как обогатит «земные науки» проникновение человека в космос.

Одной из таких наук, которая подготовила полет человека в космос и которую, в свою очередь, несказанно обогатят космические путешествия, является космическая биология.

Наш корреспондент попросил рассказать о ней действительного члена Академии медицинских наук, профессора В. В. Парина.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

...На протяжении поколения, начавшего свою жизнь вместе с нашим веком, человечество полностью овладело воздушным пространством Земли. Я помню, как в дни моего детства над ипподромом или над каким-нибудь пригородным лугом демонстрировались первые полеты хрупких сооружений из деревянных реек, тросиков и миткаля, получивших в дальнейшем презрительное название «летающие этажерки». Какой восторг вызывали эти полеты! Трудно себе представить это сейчас, когда космический корабль с человеком на борту уже совершил свой первый рейс.

Но человек — удивительное существо. Он никогда не успокаивается на достигнутом. Жизнь ставит новые задачи, и, чтобы решить их, рождаются новые науки. Одна из них — космическая биология.

Когда родилась она?

Без прочных теоретических и практических основ ракетостроение не могло развиваться, а следовательно, не могла развиваться и космическая биология.

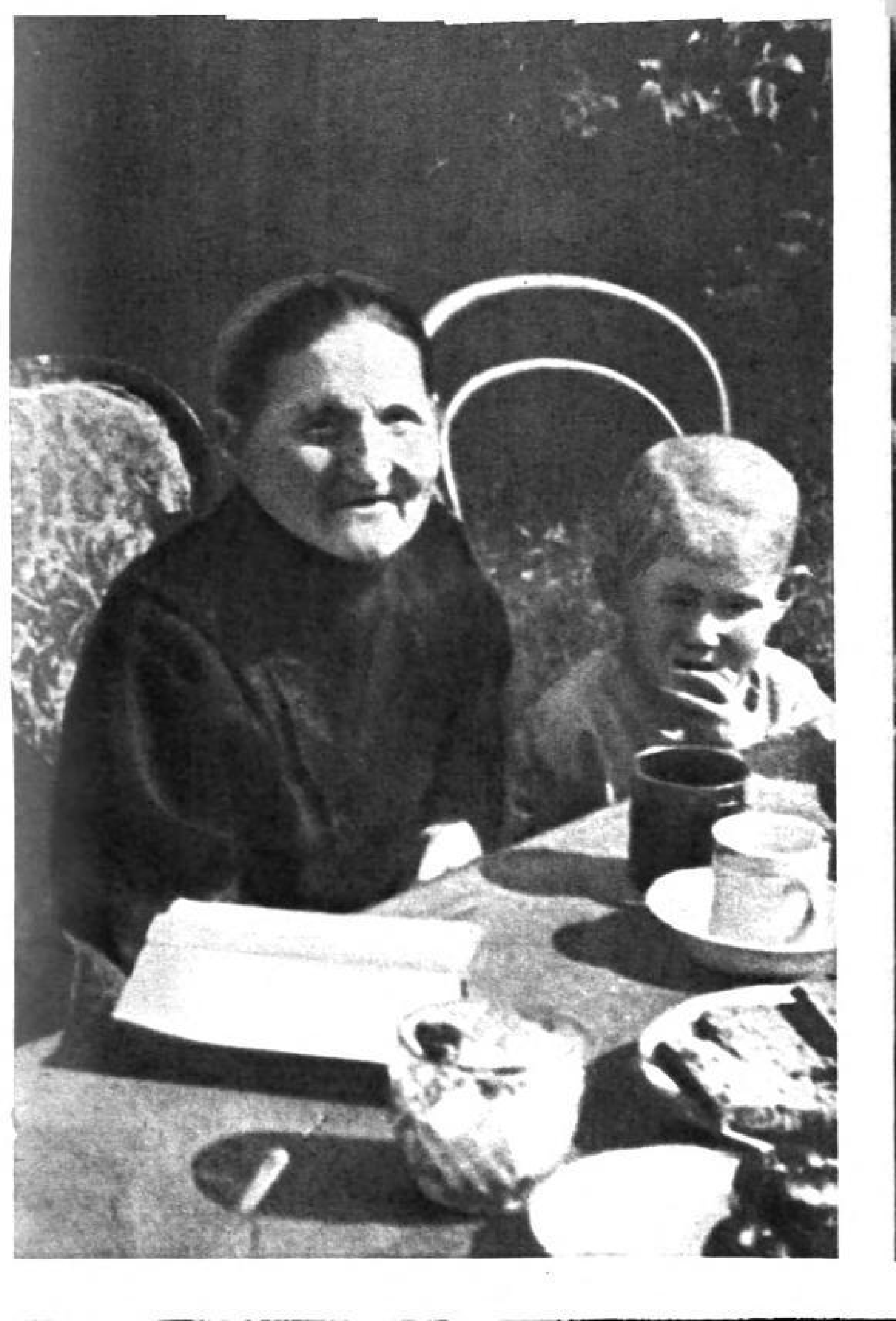
Эти основы заложил великий русский ученый Константин Эдуардович Циолковский.

...Первая страница космической биологии была перевернута в 1949 году, когда советские ученые — доктор медицинских наук В. И. Яковлев и профессор В. Н. Чернов — стали проводить опыты с подъемом животных на большие высоты.

Вторую страницу тоже перевернули советские ученые. Это было 3 ноября 1957 года. На борту второго советского спутника Земли была собака Лайка.

Советские ученые кропотливо и настойчиво отрабатывали условия для полета в космос человека.

Биологи, инженеры, конструкторы, врачи трудились, чтобы сделать этот полет безопасным для его жизни и здоровья. Только когда все системы были тщательно проверены, Юрий Гагарин получил «визу» на вылет...





О С - З Е М Л Е

ТРИ ЗАДАЧИ

Перед космической биологией стоят три основные задачи: узнать, как будут чувствовать себя земные обитатели и растения во время космических полетов, проникнуть в тайну жизни других планет и, наконец, выяснить те широкие горизонты, которые раскрывает перед медициной и биологией новая наука.

Космическая биология исследует, как ведут себя в космосе самые разнообразные формы жизни. Пример этому — экипаж «ноева ковчега», второго советского космического корабля.

Наиболее простым представителем живых организмов на этом корабле был бактериофаг, невидимый даже в обычный микроскоп. Как повлияет на него космическое путешествие? Как изменятся его свойства под действием космических излучений?

Одним из «кирпичиков», входящих в состав живых организмов, является ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота. Ученые доказали, что она имеет важное значение для передачи наследственных признаков. Поэтому это химическое соединение тоже было послано в космос. На тот же вопрос о влиянии космической радиации на наследственность должна была ответить и маленькая плодовая мушка. Не случайно именно на ней в течение многих лет ученые изучают законы передачи наследственных признаков: ведь она быстро размножается, и наследственные признаки ее хорошо изучены.

Белка и Стрелка были наиболее высокоразвитыми животными в кабине этого космического корабля.

Почему были взяты собаки, а не наиболее близкие человеку по эволюционному развитию обезьяны? Дело в том, что человекообразные обезьяны гораздо «капризнее» человека: они крайне болезненно реагируют на внешние раздражители.

У собак реакции кровообращения и дыхания на изменения внешних условий примерно такие же, как у человека. Поэтому именно собака была предшественником человека в космосе.

ОТ АСТРОБОТАНИКИ К КОСМОБИОЛОГИИ

«Представительство Марса на Земле» — так называли институт в Алма-Ате, где работал член-корреспондент Академии наук СССР Г. А. Тихов, создавший поэтическую и фантастичную науку — астроботанику. Она изучает растения на других планетах. Едва эта наука появилась, как сразу же вызвала оживленные споры. Были ученые, которые отрицали самую основу новой науки. «Нельзя изучать растительность одной планеты, находясь на другой»,— говорили они. «Ни на Марсе, ни на Венере нет жизни, нет растений, поэтому там просто нечего изучать»,— вторили им другие. Третьи были согласны с основными принципами астроботаники, но возражали против отдельных частных положений Г. А. Тихова.

Сейчас я не буду вдаваться в споры ученых. Ясность в этот вопрос внесет научная экспедиция, которая соберет гербарий марсианских растений. Скажу только, что теперь астроботаника влилась в более широкую науку — космическую биологию. Человек, отправляясь в космическое путешествие, должен знать, что встретит его на других планетах, каковы на них физические условия с точки зрения сохранения его жизни во время путешествия на одну из них.

Сейчас разрабатываются новые научные способы, с помощью которых можно более полно исследовать физико-химические условия атмосферы Марса и Венеры, улучшается методика, позволяющая изучать поверхность других планет нашей солнечной системы.

Пример этому — фотографирование обратной стороны Луны и запуск советской межпланетной станции в сторону Венеры. Пример этому — первое в истории человечества «кругоземное» путешествие Юрия Гагарина.

КОСМОС — ЗЕМЛЕ

Ну, а может ли космическая биология пригодиться нам на Земле?

Конечно, может. И наука уже сейчас обладает интересными данными по этому поводу. Прежде всего космическая биология может оказать большое влияние на развитие медицины.

На второй советский космический корабль были взяты различные штаммы кишечной палочки, постоянного спутника человека. Ученые наблюдают, изменилась ли деятельность этих микроорганизмов в условиях космического полета и после него.

Клетки раковой опухоли тоже совершили полет на космическом корабле. Вы знаете, что при изучении рака медицина широко использует культивирование раковых клеток на специальных питательных средах, вне организма. На раковые клетки действуют самыми различными способами и выясняют, какие воздействия тормозят их рост, какие вызывают гибель, а какие, наоборот, стимулируют их жизнедеятельность. Вполне вероятно, что разные дозы космического излучения могут поразному влиять на жизнедеятельность раковых клеток. Так космическая биология, может быть, сумеет нащупать новые пути борьбы с этой болезнью.

Посылая в космос штаммы грибков — продуцентов антибиотиков, можно рассчитывать на возможность изменить их свойства, а следовательно, получать новые, еще неизвестные на Земле разновидности антибиотиков. А говорить о том, какое значение имеют полезные человеку антибиотики для развития медицины, не приходится.

Хочется мне рассказать и еще об одном интересном опыте, проделанном советскими учеными. Как вы знаете, на втором космическом корабле находились и семена некоторых растений. Так вот оказалось, что сухие семена лука, посеянные после космического путешествия, проросли гораздо быстрее, чем те, которые никуда не летали. А у проростков семян пшеницы, гороха и кукурузы процессы клеточного деления и роста протекали в несколько раз быстрее. Рост некоторых лучистых грибков даже ускорился в 6 раз.

Значит, космическая биология несет в себе залог развития медицины и других естественных наук, а также, возможно, и повышения урожайности многих растений. Перспективы космической биологии так же неисчерпаемы, как неисчерпаемы безграничные дали космоса.

В Москву!..

На пресс-конференции президент Академии наук СССР А. Н. Несмеянов вручает золотую медаль имени К. Э. Циолковского космонавту № 1.



— То время, которое я пробыл на орбите, мне позволяет сделать субъективный вывод, что в космическом полете можно находиться и значительно дольше.



— Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый полет человека в космос — вот этапы большого пути моей Родины к овладению тайнами природы.





На родной земле.


Фото В. Тарасевича.

Встреча в студии телевидения. Алексей Маресьев и Юрий Гагарин. Два летчика, два Героя, два настоящих человека!

— О том, что я первый кандидат, мне сообщили своевременно.



«Пожалуйста, автограф!»

Фото Д. Бальтерманца, А. Новикова, А. Узляна.



Руки прочь от Кубы!

Невозможно без волнения писать о том, что происходило в Москве, как только разнеслась весть об агрессии против молодой Республики Куба.

Еще четыре дня назад здесь по улицам столицы шли колонны радостных москвичей, приветствовавших Юрия Гагарина, первого в мире космонавта. Теперь москвичи опять пришли сюда. Но на этот раз лица их были уже иными. Море возмущения гудело там, где недавно ликовало море восторга.

«Позор интервентам!», «Куба — да! Янки — нет!», «Вива Куба! Вива Фидель!», «Руки прочь от Кубы!» — страстно призывали наскоро написанные плакаты. В воздух вздымались руки; возгласы протеста и лозунги солидарности с Кубой слились в грозный гул.

Десятки тысяч людей шли с антиимпериалистическими плакатами на русском, английском, французском, испанском, арабском языках. Шли рабочие автозавода имени Лихачева, студенты московских вузов... Гневная стихия билась в каменных берегах московских улиц.

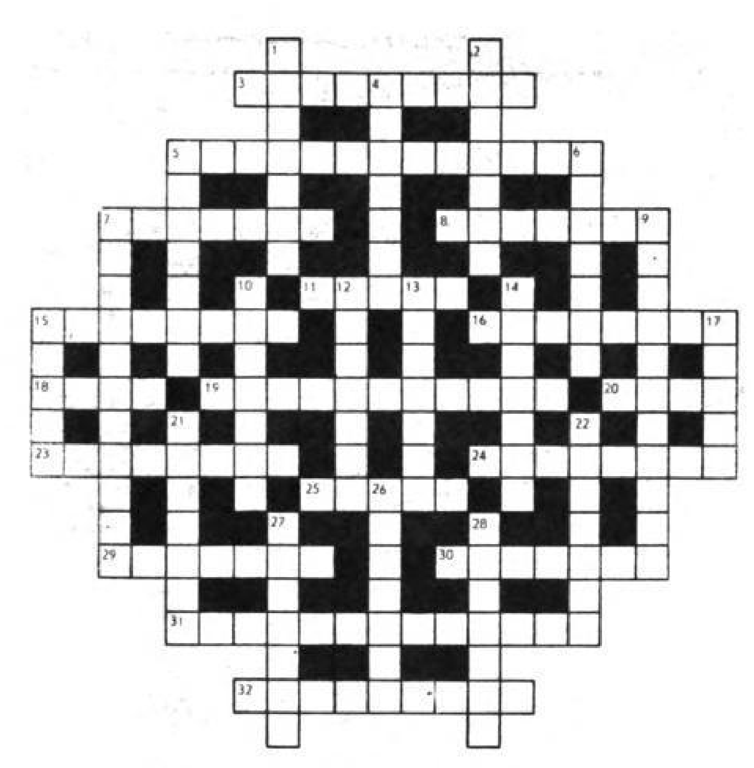
— Это самый большой позор для американских империалистов, большего позора и не придумаешь! — слышится возмущенный голос. И эти люди еще пытаются болтать о свободе! В те дни, когда все человечество радуется победам в космосе, они приступили к выполнению своего подлого, давно задуманного плана! Это — чудовищное преступление не только против Кубы, но и против всех молодых стран, борющихся за свою независимость.

Народу все больше. Улица кипит. Еще выше вздымаются большие плакаты:

«Руки прочь от Кубы!»



Фото А. Новикова, С. Раскина.



КРОССВОРД

По горизонтали:

3. Искусственное орошение. 5. Специальность врача. 7. Веслоногая птица. 8. Музыкант. 11. Химический элемент. 15. Перерыв в учебных занятиях. 16. Река в США, приток Огайо. 18. Город на Днепре. 19. Свойство атома образовывать химические связи с определенным количеством других атомов. 20. Жвачное животное. 23. Латинизированное имя ученого Ибн-Сины. 24. Образное поэтическое выражение. 25. Рассказ И. С. Тургенева. 29. Молочный продукт. 30. Бабочка. 31. Персонаж пьесы В. Маяковского «Баня». 32. Критик.

По вертикали:

1. Музей в Ленинграде. 2. Перевал в Центральных Альпах. 4. Ледник. 5. Тонкая доска, вставляемая в раму. 6. Государство в Азии. 7. Русский художник-передвижник. 9. Рыба семейства карповых. 10. Многолетняя трава, краситель. 12. Провинция в Китае. 13. Старейший центр хлопчатобумажной промышленности. 14. Мера веса. 15. Разветвленная часть дерева. 17. Один из Ионических островов. 21. Альпинистский инструмент. 22. Астроном, открывший горы на Луне. 26. Денежная единица Нидерландов. 27. Подвесная грузоподъемная машина. 28. Итальянский композитор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 16

По горизонтали:

5. Паустовский. 8. Файдешин. 9. Кавальер. 10. Горка. 12. «Манас». 14. Инжир. 18. «Варвары». 19. Косьва. 20. Сатурн. 21. Реплика. 22. Капри. 24. Шкала. 27. Ангар. 28. Пергамин. 29. Колумбия. 30. Протактиний.

По вертикали:

1. Газета. 2. Штанга. 3. Квакша. 4. Низами. 6. Малоярославец. 7. Дефилирование. 11. Кальмар. 13. Новелла. 15 Ноктюрн. 16. Кварц. 17. Рысак. 23. Иматра. 25. Кончак. 26. Локоть. 27. Анучин.

На первой странице обложки: Встреча первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина на Внуковском аэродроме 14 апреля 1961 года.

Фото Дм. Бальтерманца и А. Новикова.

На последней странице обложки: Москвичи приветствуют героя-космонавта на Красной площади в Москве 14 апреля 1961 года.

Фото М. Савина.

Главный редактор А. В. СОФРОНОВ.
Редакционная коллегия: М. Н. АЛЕКСЕЕВ (заместитель главного редактора), Г. А. БОРОВИК (ответственный секретарь), И. В. ДОЛГОПОЛОВ, Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Рукописи не возвращаются. Оформление Е. Казакова.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-36-53; Искусств — Д 3-38-33; Литературы — Д 3-31-83; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 3-38-08; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-35-48; Оформления — Д 3-38-44; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 05202 Подписано к печати 19/IV 1961 г.
Формат бум. 70×108¹/₈. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л.
Тираж 1 850 000. Изд. № 791. Заказ 1057.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Марки века

Космическая филателия пополнилась «марками века». Министерство связи СССР выпустило серию из трех почтовых марок. Открывается она портретом первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

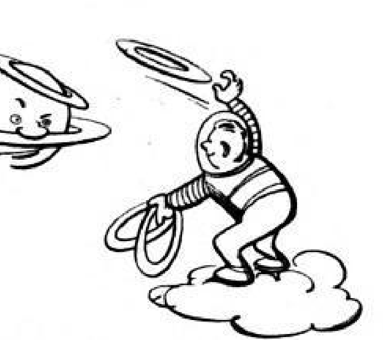
Тема второй марки — от первого искусственного спутника Земли до космического корабля-спутника «Восток». Марка эта необычна. Она имеет своего спутника — купон с текстом: «Наш народ первым проложил путь к социализму. Он первым проник в космос, открыл новую эру в развитии науки...» (Н. С. Хрущев).

В космическом пространстве — корабль «Восток». В кабине корабля — первооткрыватель космоса Юрий Алексеевич Гагарин. Это сюжет третьей марки. Обобщает всю серию знаменательный заголовок: «Человек страны Советов в космосе».

М. МИЛЬКИН









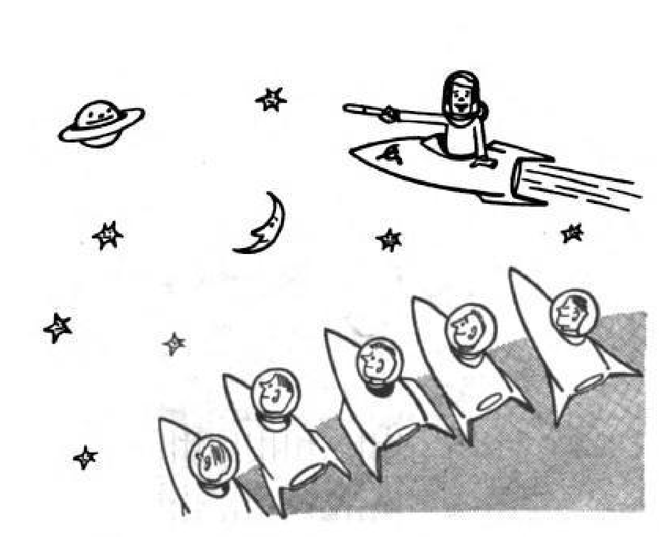
Цирк гастролирует в космосе.

Рисунки Ю. Федорова.

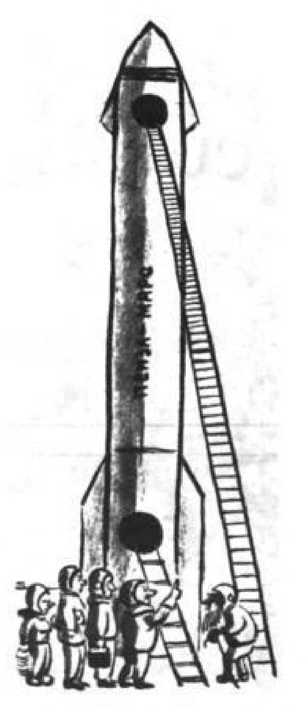


— Не хочу быть Мишей, а хочу быть Юрой.

Рисунок С. Крылова.



Путь открыт! Рисунок Р. Овивяна.



— Пожалуйста, дедушка, без очереди — через переднюю.

Рисунок В. Воеводина.

Салюты

Я был мальчишкою веснушчатым,
и под моих соседок аханье
я сообщения выслушивал
о всех победах нашей армии.
А сам бежал скорей на улицу
среди восторженного люда
и ждал,
когда же ночь нарушится
огнями нового салюта.
Ракеты возникали рыжие,
и голубые,
и оранжевые.
Они цвели над всеми крышами,
меня собою завораживая.
И я на мостовой залузганной
таил желание такое:
поймать
хотя б одну салютинку
своей мальчишеской рукою...
Мое бесценное мальчишество
за все грехи мои, наверно,
уходит от меня мучительно
и, видимо,
уже навечно.
Но в добрый праздник возвращения
героя молодого,
звездного
я ощущаю возрождение
того восторженного возраста.
Ракеты возникают рыжие,
и голубые,
и оранжевые.
Они цветут над всеми крышами,
меня,
как в детстве,
завораживая.
Мальчишки,
с вами мы союзники!
И вновь
желание такое:
поймать
хотя б одну салютинку,
пусть не мальчишеской рукою...

Евг. ЕВТУШЕНКО

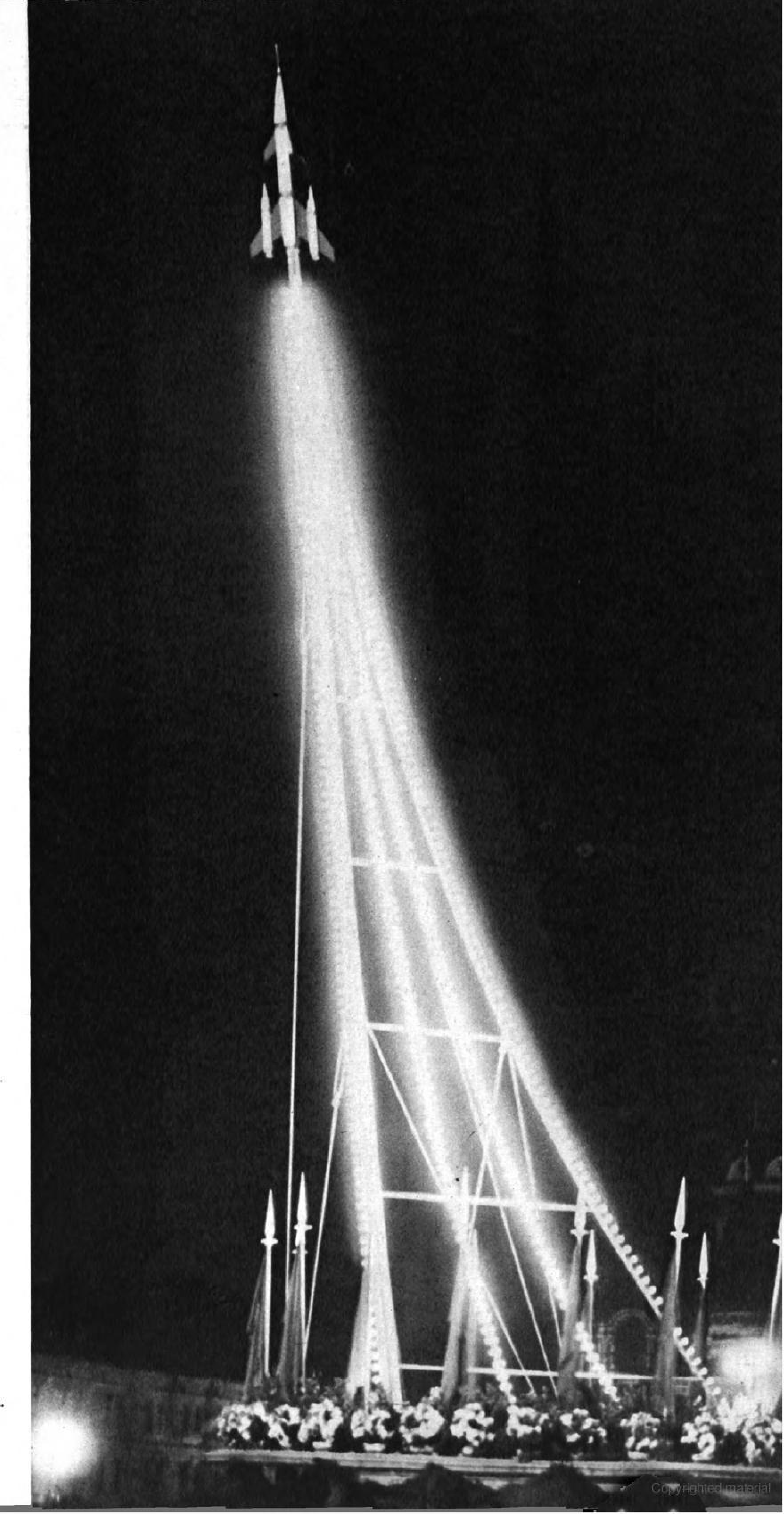


Фото И. Тункеля.



СЫН РОССИИ

Открыто глядит
Чуть застенчивый парень.
Упрям подбородок крутой.
Так вот ты какой,
Наш товарищ Гагарин,
Простой и такой непростой!

Ты, словно Россия,
Орел светлоглазый!
Сам бросил ты вызов судьбе.
Крутая закваска
Рабочего класса,
Солдатская хватка в тебе.

Вчерашний смоленский
Застенчивый мальчик,
Как ты возмужал со страной!
Старик Циолковский
И юный Кибальчич
Стоят за твоею спиной.

Парит над тобою,
Горит, как награда,
Стяг ленинский, красный,
родной.

Бойцы Петрограда,
Бойцы Сталинграда
Стоят за твоею спиной.

А кто, кто рванется
За Юрием следом!
Нетрудно таких отыскать.

Смеется и плачет,
Как в праздник Победы,
Россия, счастливая мать.

Владимир ФЕДОРОВ